

Сергей Мотренко, Любовь Макеева, Андрей Антоненко
Геннадий Васильев, Сергей Краснолуцкий



НЕ МЫСЛИВШИЕ ЗЛА

Неполное собрание сочинений

Сергей Мотренко
Любовь Макеева
Андрей Антоненко
Геннадий Васильев
Сергей Краснолуцкий

НЕ МЫСЛИВШИЕ ЗЛА

Неполное собрание сочинений

УДК 00000
ББК 00.0
А 00

Настоящий сборник представляет творчество четырех литераторов и художника, которых в 80-е годы прошлого столетия свела вместе ударная стройка КАТЭК – Канско-Ачинский топливно-энергетический комплекс. Жили и познакомились в столице стройки – городе Шарыпово Красноярского края. Спустя десятилетия решили собраться вместе – не в городе, но хоть под одной обложкой.

Не мыслившие зла. Неполное собрание сочинений.

Сергей Мотренко, Любовь Макеева, Андрей Антоненко

Геннадий Васильев, Сергей Краснолуцкий.

Редактор-составитель Геннадий Васильев.

Особая благодарность за помощь
в издании сборника Александре Головач.

Тираж 100 экз.

ISBN 0-00000-000-0

УДК 00000
ББК 00.0



Город. Кедр, берёза. 1988 г. 30х25х23 см

О НАСТОЯЩЕМ

Главное – не прошлое и не будущее. Главное – настоящее. Мы жили настоящим. Город с большим будущим – таким он нам казался тогда, как же: Шарыпово, столица ударной стройки КАТЭК, я это название еще в армии услышал и из армии по комсомольской путевке приехал строить будущее, – большого будущего город все-таки не получил. Причины разные, и пересказывать их неинтересно. По крайней мере, в этой книге.

Большого будущего не случилось. Но из того, настоящего, мы сумели извлечь много.

А вот себя так и не извлекли.

И жить «правильно» не научились.

Кто мы такие, авторы этого сборника? Мне, впрочем, больше нравится – «этой книги». «Сборник» предполагает нечто сборное, чаще всего – эклектичное, внутренними связями не богатое. Нас же, четырех авторов, связывает многое. И врожденное графоманство (Роман Солнцев говорил о себе и коллегах – юных и не очень: «Все мы графоманы...»), если под ним понимать невозможность не писать, не выражать себя через слово. И желание быть услышанными и понятыми. И, конечно, молодость, отданная городу Шарыпово и последней ударной стройке коммунизма – КАТЭКу.

В сущности, никто из нас не строил будущее не покладая рук. Мы с Андреем пытались быть строителями – ничего хорошего из этого не вышло. Когда я увольнялся из бригады плотников-бетонщиков, мне полагалось отработать две недели (а может, и два месяца – кажется, тогда такие нормы были). Но я пришел к начальнику управления строительства и сказал: «Знаете, почему я регулярно просыпаю на работу? Я ночами стихи пишу!» Он помолчал недолго, вздохнул и сказал: «Что ж, вдруг я загублю молодой талант...» – и начертил на моем заявлении: «Уволить по собственному желанию без отработки». Андрей, кажется, себя такой процедурой не утруждал – просто по-английски расстался со стройкой. Ко взаимному удовлетворению.

Сергей Краснолуцкий – фотографии его скульптур украшают книгу – был художником-оформителем в одном из управлений строительства, и благодаря выделенному под его мастерскую вагончику нам некоторое время было где жить: общаги нам с Антоненко не давали.

Сергей Мотренко и Люба никогда со стройкой не были связаны. Но были связаны с городом. Каждый из них выполнил символическую роль первой ноты и финального аккорда. С Сергея Мотренко, по сути, началось литературное объединение «Инголь» (по имени замечательного и загадочного озера), которое редакцией газеты «Красноярский комсомолец» задумывалось не городским, а объединяющим все территории КАТЭКа: Шарыпово, Назарово, Бородино... Общих встреч не припомню, хотя с такими же, как мы, начинающими литераторами из других городов иногда виделся – скорее, на литературных семинарах в Красноярске. Собственно, останавливаться на этом не хочу – в силу природного эгоизма и по причине ответственности перед друзьями, которых мы с Любой вовлекли в эту книгу.

Я – о ней, о книге.

Идея собраться вместе под одной обложкой родилась лет 25 назад, но по разным причинам это не получилось. Потом долгие годы общение как-то не складывалось, казалось – общих тем больше нет и не будет. Однако – возникли. В 2019 году у Любы родилась мысль – что бы не вернуться к старой идее? – я ее подхватил. И вернулись. Несмотря на то, что Сергей Мотренко давно живет в городе Таре Омской области, Люба с семейством давно в Украине, я в Красноярске, а в Шарыпове остались только Андрей и Сережа Краснолуцкий. Видимо, как верные хранители нашего прошлого.

Но прошлое было – настоящим. О нем можно писать не просто очерки – исследования. Снимать фильмы. Рассказывать детям и внукам.

О нем можно сделать вот такую книгу: художественную, непосредственную.

И не только о прошлом – о нас и тех, какими были мы в то время, в начале 80-х прошлого века, и какими стали.

О нас – настоящих.

О тех, кто не мыслил и не мыслит зла.

Особая благодарность за то, что эта книга состоялась, Александре Головач. Она приняла самое горячее и самое непосредственное участие.

Геннадий Васильев, составитель



Сергей Мотренко

«УЕЗЖАЙ И НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ!»

Сережа Мотренко был тогда бородатый и усатый, он был старше и, казалось, мудрее. Именно с него началось литературное объединение, и потом с него же – наш рукописный журнал «Инголь», где мы критиковали друг друга, где обменивались колкостями в виде пародий, где воспаряли к классике. Серега был замечательным пародистом. Теперь он живет в городе Таре Омской области. Как говорит, ничего давно не пишет. Поэтому в книгу вошли только его старые стихи, времен Шарыпова как столицы ударной стройки КАТЭК.



Вечер в лесу. Серпентинит. 2012 г. 13х30х9см

ПАМЯТИ ТАИСИИ ШЕВЧЕНКО

Тополь не стукнет в окно твое, Тая,
Высохла ветка и стала короче.
Долго и больно листва облетает,
Будто с тобой расставаться не хочет.

Всем нам туда – что поделаешь, Тая,
Струн еще много терять нашей лире.
Все мы, как свечи, сгорим и растаем
В этом, как лист, оторвавшемся мире.

* * *

Я из азартных тропиков,
Где все предreshается мигом.
Секундой отточенным дротиком
Грудь пробиваю фламинго.
Не столбейте с вопросами.
Вы любите розовый цвет? –
Я оставляю вам розовый,
Не тронув фламингов рассвет.

Привыкните жить без резонности –
Зачем вам нужны две розовости?

Г. Васильеву

Вы не плачьте по мне, не тужите,
Когда я вам себя допою.
Мне надгробной плитой положите
Пресвятую гитару мою.

Я тому, непонятному свету
Буду песни веселые петь,
Где тоскуют певцы и поэты,
Не успевшие с нами допеть,

Не смогли им помочь в этом мире
Ни слеза, ни печальная речь,
Не успевшие в затхлой квартире
Дописать, и дожить, и дожить.

Вы не плачьте по мне, не тужите,
Когда я вам себя допою.
Розу белую мне положите
На плиту пресвятую мою.

Моим друзьям из театра-студии на КАТЭКе

Я б прожил жизнь, как честный Фауст,
Впитав в себя чужую боль.
А мне безумная досталась
И необузданная роль.

Я, словно нищий и ослепший,
Блуждаю в дебрях чьих-то рук.
То вдруг на миг во всех умерших
Вселяю свой мятежный дух.

И, все союзы расторгая,
О неизбежности кричу...
Но будь я Моцарт или Каин –
Я в каждой роли жить хочу.

Я над скрипкой, как над гробом, помолчу.
Пусто в ней, и глухо, и печально.
Отрубили пальцы скрипачу
И похлопали ладонью по плечу:
«Брось жалеть, так надо. Все нормально».

Старых струн забытые лучи
Разбрелись по свету, как скитальцы.
Лишь приказ над площадью звучит:
«Скрипача назначить в палачи –
Пусть он рубит головы и пальцы».

Уезжала ты... Что ж – не ново.
Ни грустинки в твоих глазах.
На прощание я ни слова
От волненья не мог сказать.

Ты ж промолвила: «Не печалься,
Я вернусь еще, может быть...»
Уезжай и не возвращайся,
Я тебя не хочу забыть.



Цветок. 1983. Пластлин



Любовь Макеева

«РИСУНОК НА СТЕНЕ»

Любовь Макеева (по мужу Головач) родилась в Красноярске, училась в Ивановском университете на факультете романо-германской филологии, окончила Красноярский педагогический институт, филолог, иностранные языки. Работала переводчиком. Жила в Дивногорске, Красноярске, Шарыпове. Сегодня живет под Киевом, в гоголевской Полтавщине.

Это – биография. И это – не главное.

Главное – что Люба поэт, хоть и прозаик. Читатель легко в этом убедится. Составитель не мог удержаться от соблазна – поставить в ряд Любиных рассказов и некоторые ее посты из интернета. Это – поэзия, притом высокая.



Весна. Серпентинит, известняк. 2008 г. 24х16х6см

КУДА УШЛО РОЖДЕСТВО

Завтра сочельник. Бабушка к этому дню начищала дверные ручки мятным зубным порошком, а ночью пекла шаньги. Чистота стояла стеклянная, пол блестел, окна звенели, постель колючая, накрахмаленная. Проскочишь на цыпочках по ледяным половицам, обязательно сунешь нос в щель двери на кухню. Ничего не видно. Только одуряющий запах. Свет выключен. Свеча и огонь печи. Позовешь бабулю шепотом, никогда ничего не ответит, только тихо – шлеп! – полотенцем по двери. Нырнешь обратно в кровать, простыни шершавые, торчат сугробом, за замерзшими окнами фиолетовая ночь, лежишь и думаешь: что это за тайна такая, булки ночами печь? Утром спросишь, а бабушка только так посмотрит, будто посмеивается, по голове погладит и ничего не скажет. Сочельник. Великая мистерия. Тихий вход в Рождество. К той звезде, которая никогда не погаснет. Храни Христос.

* * *

Рождество уходит. Заберешься на подоконник и думаешь о глубоком спящем сугробе. О синих сумерках, густых и звездных. В доме метут, и за веником тянутся стружки бумажного серпантина. Дух Рождества исчезает. С подтаявших окон сползают снежинки. Волшебства больше нет. Игрушки растерянные и старые, совсем как бабушка, которая складывает их в коробку. Голую елку выносят за дверь и ставят в темном углу коридора. С остатками ваты и дождика у нее совершенно несчастный вид. В темноте она выглядит, как бубука. Бабушка знала много бубук. Они жили в сарае, под лестницей, тяжелой и черной от времени, на чердаке, где мерзло подсиненное белье. Мне жалко елку, бубуку, праздника... Бабушка вносит меня в комнату, ставит на подоконник и показывает, куда ушло Рождество. Мы долго смотрим в высокое морозное небо. Оттуда, куда ушло Рождество, идет Крещение. Сочельник прибранный и немного уставший. Во сне я вижу, как босой человек в странном вязаном платье ведет меня за руку по чистому снегу и никто из нас не оставляет следов. За нами белое поле, как и было до нас. Оно чуть-чуть отдает синевой по краю. Там, где небо касается земли.

* * *

Нового года не жду, но встречаю. Последние лет пять с несвойственным мне упорством пропускаю минуту, когда стрелки сталкиваются в верхней точке. И почему-то все больше люблю этот день – время предновогодья. Обожаю, когда в доме дети. Удовольствие за ними наблюдать. Девочки, красивые, неожиданно взрослые, готовят и смеются. Мальчики, неожиданно разные, общаются. За час до закрытия сельского магазина вспоминают, что ящика колы может на всех не хватить. Обнаруживается, что ребенок уже натоптался кексов и кто-то добрый, наверняка дед, ему в этом потворствовал. Их лица, мимика, шутки, наше родство и наша любовь – все здесь, на расстоянии вытянутой руки. Можно обнять, шепнуть на ухо – я люблю тебя, и получить в

ответ – я тебя тоже. Иногда это счастье на расстоянии звонка. Но оно такое большое, что километры легко игнорировать. Всем счастья. Творим сами. До встречи в новом году!

* * *

Заметила, что имя, которое мне никогда не нравилось, все чаще встречается. Человек пять в доступном радиусе. К чему бы это? Жду Рождества. Решила для настроения украсить дверь и крыльцо. Стекло на лампе треснуло, каркас не откручивается, риздвяный бант исчез. Был ведь. Теперь нету. Пошла читать, как поднять настроение. Про высокобелковую низкокалорийность, дефицит солнца и серотонин. Почти усвоила. Выпила магникум и стала слушать приятную музыку. Но стекло-то все равно треснутое. И кот еще – стащил свинью с елки и стал таскать по всем комнатам. Все, конец, я подвисла на маятник неприятностей... Решила поставить градусник. Обыкновенная температура. И не надо нам тут про космическое притяжение негатива. Свинья пока где-то под кроватью. Но до пятого февраля найдется. Если елку раньше не уберем. С наступающим!

* * *

Первое утро года. Люди! Даже мусор красивый: мандариновая кожура – почему-то на подоконнике, подарочные обертки, салфетки для декупажа, которыми кто-то вчера зачем-то вытер руки. Это же был декор! А снег! А запахи! Кофе с корицей, гвоздикой и лимоном. Фантастика. И шоколадный срез кекса с миндалем. Чудо рядом. Вот оно. Кот вытянулся вдоль батареи. На сугробах рассыпали конфетти. Кто-то приходил и уже поздравил. По дому объявлен день тюленя. Фильмы, простые и праздничные, как фольга. Зачем-то достаешь старые альбомы, черновики недописанных рассказов... Редкие ленивые прогулки за апельсинами в кухню. А вечером... Вечером Диккенс. И тарелку с конфетами с собой. И с мандаринами. И пусть придет кот и завалится в ноги. С Новым годом!

* * *

Умер друг. Человек, который всегда смеялся. Когда Костя сломал ногу, когда был путч, когда сам попал в жуткую аварию. Женька никогда не терялся. Женька предпочитал шутить. Когда разразился путч, он пришел к нам с предложением создать партию Черных треугольников. Но до разработки программы не дошло, так как путч сдуся. Бороться стало не с кем. Выкройка черной треуголки до сих пор хранится в моих черновиках.

У него были тысячи идей, как заработать денег, когда в стране их в принципе не было ни у кого. Он предлагал написать письма всем президентам и королям, чтобы узнать, что они любят на завтрак, и потом издать книгу. И продать. Он не сомневался, что нам ответят. Он даже посчитал, сколько нужно конвертов... Но мы остановились на кино. Женька был режиссером, Вова Крыжановский – оператором, я – сценаристом. Вечным позором легла на мою прозу фраза – «И тысячи лет назад на этой земле жили люди...». Но кино принесло нам 15 тысяч рублей. Директор был патриотичен. Бездарная фраза звучала голосом Женьки на фоне заходящего солнца и ковылей, которые, лежа на земле, раскачивал Вовка. Мы сделали это кино. И Женя положил нетленные кадры про какой-то завод с какими-то котлованами на музыку Моцарта и Сальери. В финале были «Битлз». «Что-то знакомое...», – отметил директор. И деньги дал.

Женька обладал удивительным качеством – он не умел обижаться. «Какой ужас!» – выдала я, увидев его после аварии. «Ты бы остальных видела», – ответил он. Остальных к тому дню уже не было. А Женька смеялся. Когда я уставала и вывешивала на дверь квартиры табличку «Просьба не беспокоить», он вставлял в звонок спичку и ждал. «А почему, собственно?» – возмущался он, когда я все-таки открывала. Как-то притащил необыкновенно красивую розу невероятного размера. Откуда? Вот и я спросила – откуда? «Да там тещу начальника хоронили, цветов – куча, я одну взял», – ответил он. Роза месяц стояла в толстой бутылке из-под киндзмараули.

Однажды он рассказал мне историю, чтобы я написала рассказ. Я сделала это. «Безвалютный обмен» ему понравился, и он принес мне свой армейский дневник. Были наброски, планы и бесконечный, за полночь, чай. Впереди была целая жизнь. Потом мы уехали. Идея с повестью зависла. Его тетрадь до сих пор у меня. Когда я читала, хотелось плакать. А Женька смеялся и там.

Невозможно писать некролог. Не клеится. Не стыкуется. Женька и смерть – вещи несостыковываемые. Что-нибудь вроде этого он бы и брякнул. Пусть ему на улыбку улыбнутся в ответ Небеса.

*Жене Пузыренко в благодарность за историю.
Л. Макеева*

*Мне.
Е. Пузыренко*

БЕЗВАЛЮТНЫЙ ОБМЕН

Первый день по приезде решили пустить на самотек, но за ужином выяснилось, что американцы отказались есть мясо.

– Почему? – не понял повар Гурьин.

– Потому, что оно несвежее, – в голос сказали Элла и Иван Сергеевич.

– Да вы что, сдурели? – Гурьин понюхал мясо и пожал плечами. Понюхали и Элла с Иваном Сергеевичем. Позвали Риту, горничную. Та потянула носом: мясо как мясо.

– С чего они взяли, что несвежее? – строго спросил Иван Сергеевич.

– Не знаю, – Элла замялась. – Я не понимаю, что они говорят.
 – А кто понимать будет? – возвысил голос Иван Сергеевич.
 – Я?!

– А вы на меня не кричите, – с достоинством ответила Элла, – завтра мнс прилетит, вот он и будет понимать.

Весь вечер Элла трясла телефон, выпрашивая Москву, и требовала мнс из академии. Пока она ругалась с Москвой, прибежала Рита с выпученными глазами и с полотенцами в руках. Иван Сергеевич замахал на Риту руками, но Элла уже увидела и добавила в телефон: мол, вот еще какая-то проблема с бельем, а какая – никто понять не может. Москва, недовольная, пообещала железно.

Мнс прилетел утром. Гурьин с порога потребовал выяснить все по мясу. Рита уже с утра плакала, потому что опять нашла полотенца в мусорном контейнере в умывальной комнате. Иван Сергеевич, как администратор, заявил, что пора американцев призвать к порядку и это должен сделать мнс, так как Элла ни сказать не может, ни спросить.

– Понятно, – сказал мнс. – Умыться можно?

– Нет, – сказал Гурьин.

– Да, – сказала Элла. Это они выдали в голос. Мнс оглядел обоих, улыбнулся и ушел в душ.

Никто не расходился. Элла, чувствуя себя виноватой и спасенной одновременно, беспрестанно говорила:

– Сейчас он выйдет, все поймет, и все уладится. Что вы, Гурьин, в самом деле, пристали со своим мясом!

– Кто? Я пристал? – возмутился Гурьин.

– Ну а кто же?

– Прекратите! – прикрикнул Иван Сергеевич и выразительно посмотрел на Риту, которая тоже хотела сунуться со своими полотенцами.

Мнс спустился вниз через полчаса, совершенно спокойный, чем сразу всех разозлил.

– Ну? – сказал он просто. – Где ваши американцы? Ведите.

И все гурьбой двинулись наверх. Обе комнаты американцев, расселенных по двое, оказались пусты.

– Ума не приложу, – заволновалась Элла. – На зарядку они не пошли...

– Как это? – возмутился Иван Сергеевич. – Для них что, порядка не существует?

– Спокойнее, – посоветовал мнс. – Ушли – значит, придут. Придут, все и выясним.

– Нет, ну это возмутительно, – проворчал Иван Сергеевич. И вдруг взелся на Эллу. – Вы зачем вообще к ним приставлены, если не можете контролировать их поведение?

– Я переводчик, а не контролер! – парировала Элла.

– Так вы же и перевести ничего не можете! – заорал Иван Сергеевич. Элла надулась, а мнс сказал:

– Спокойнее! Они не только Эллу, друг друга не всегда понять могут. Знаете, если один из Калифорнии, а другой из Чикаго...

– Да плевать я хотел! – заявил Иван Сергеевич.

А Гурьин вставил:

– Так мясо готовить на обед или нет?

Все ненавидяще уставились на Гурьина.

– Между прочим, с вас все началось, Гурьин, с вашего мяса! – брякнула Рита. Гурьин опешил:

– Нет, я балдею от этих базаров! Я ведь, между прочим, в отпуске и могу продолжить отдых!

– Гурьин! – сказал Иван Сергеевич, – не угрожай, тебя здесь никто не боится. А отдыхать продолжишь, когда американцы съедут!

Тут Элла неожиданно вскрикнула и показала пальцем на дверь. В двери стоял рыжий, в шортах и в очках пацан, лет шестнадцати.

– Ой, – сказала Элла, – это он! Я же совсем забыла, что их пятеро.

– Ну и отлично! – Мнс поднял руку вверх, приветствуя пацана, и что-то быстро заговорил. Не сказать, чтобы по-англий-

ски, но – похоже. Американец заулыбался и, показывая на соседние комнаты, что-то объяснял. Элла завороченно смотрела на спокойное лицо мнс: ему было все равно, на каком языке говорить. Сбившись в тесную кучку, первые две минуты все впечатлялись зрелищем, как двое с разных материков без проблем понимали друг друга.

– Во дает... – прошептала Рита.

– Ага, – ответил Гурьин и ткнул мнс в спину, – про мясо не забудь!

Поболтав еще немного, мнс наконец распрощался с американцем. Тот скрылся в комнате, а мнс сказал:

– С мясом проблема: они такое не едят. Оно пахнет морозилкой.

Гурьин хихикнул, еще не вникнув, насколько это серьезно.

– Ну, это слишком, – протянул Иван Сергеевич, готовый вылить свое возмущение теперь на невинного мнс. Но не тут-то было. Мнс выразительно посмотрел Ивану Сергеевичу в глаза и сказал:

– Вы желали выяснить проблему – я ее выяснил.

– Понял, – послушно сказал Иван Сергеевич. И серьезно посмотрел в глаза Гурьину.

– Мясо свежее, если животное заколото вчера, – пояснил мнс. – А полотенца, – мнс бросил на Риту обреченный взгляд, – они приняли их за одноразовые и другими в гостинице пользоваться не желают: это не гигиенично.

– Кошмар какой-то! – Рита от неожиданности присела. – Вафельные полотенца – в мусорное ведро?! Сдурели? У меня же подотчет! Я ж за каждое расписываюсь.

– Не шумите, – одернул ее Иван Сергеевич. – Лучше подумайте, что делать.

– А где они вообще? – спросила вдруг Элла.

– В городе.

– Да вы что! – Элла бестолково засуетилась. – Господи, еще не хватало, чтобы их тут раздели и обобрали! Глухой провин-

циальный городок, тут же концов потом не найдешь! Что же вы стоите? – Все почему-то уперлись взглядом в мнс.

– Да я вам что, частный детектив, что ли? – возмутился наконец и невозмутимый мнс. – Я приехал сюда, между прочим, лекции читать по космической физике, а не американцев вылавливать и про ваши полотенца выяснять! – И совсем уже обиженный, добавил: – Вы мне с дороги даже чаю не предложили. Прикидываю, как вы тут гостей встретили...

– А как мы их встретили? – встрепелась Элла, вспомнив, что первым делом объявила всем распорядок дня.

– Да уж видно – как. В первый день все разбежались, – проворчал мнс.

– Никакого порядка, никакой дисциплины... – Иван Сергеевич хотел было продолжать, но мнс, не извинившись, перебил:

– Кстати, о дисциплине. На зарядку они ходить не будут. Говорят, если, как сегодня, будете заставлять, заявят о нарушении прав человека.

Иван Сергеевич опешил, а Рита даже взвизгнула:

– Ну и народец! Ужас какой-то!

– Народ как народ, – сказал мнс. – Вы лучше подумайте, как быть. Гости все-таки.

Американцы, приехавшие по безвалютному обмену на слет юных космонавтов, стояли на берегу заросшей речки и наблюдали, как бабка с сыном ловили рыбок. Рядом с ними стояла кошка.

– Господи, – говорила бабка сыну, – вот дурак ты и есть дурак.

Сын сидел в страшных кирзовых сапогах и следил за бабкой. Она лихо справлялась, забрасывая удочку, и рассказывала неизвестно кому, как сын вместо соли купил в прошлый раз поплавки.

– Дурачок ты мой, – приговаривала бабка, – не переживай, может, к зиме накопим тебе на ботинки...

Бабка не удивилась, когда к ней подошел светлый здоровый парень в коротких по колено штанах и стал что-то спрашивать, тыча в банку с рыбой.

– Непонятно говоришь, – улыбнулась бабка. – А, рыба? Так она же вонючая...

– Америка, – сказал парень и еще что-то спросил.

Бабка прищурилась и, прикрыв ладонью от солнца глаз, посмотрела вверх, ему в лицо.

– С Америки, значит. Далеко...

Парень широко улыбнулся. Спросил жестом: что, кошку кормить или сама есть будешь? Бабка закивала: сама, сама. И добавила:

– Укропу побольше – и есть можно, хотя воняет, конечно...

Американец не уходил, и бабка пояснила:

– Сыну ботинки к зиме надо. Щас лето – проживем... Рыба да трава. Огород у нас...

Американец закивал, ничего не понимая, и протянул бабке пачку резинки.

– Не, – ответила бабка, – на что мне! Ему вон дай, – показала она на сына, – он у меня дурной, а сладкое понимает. Дай ему, он не злой...

Дурак заулыбался, резинку взял. Американцы что-то закурлыкали на своем, махнули бабке рукой и ушли вдоль берега.

– Смешные, – сказала бабка, – ничего по-нашему не могут. Слышь, дурачок, как ты, ничего сказать не могут, и в портках все. А вот ботинки у них хорошие...

Дурак улыбался и громко жевал резинку.

Как только появились американцы, мнс сразу же им объявил:

– Поле обеда идем в город, – и не особенно мягко разъяснил, – показываю центр и магазины, чтобы вы ничего в них не искали. Показываю клуб и достопримечательности, чтобы вас туда больше не тянуло. Объясняю: ходить только группой – преступность у нас та же, что и у вас, но полиция работает хуже. – И рассмеялся: – Я не нарушаю прав человека, нет?

Американцы тоже расхохотались.

Иван Сергеевич был просто восхищен. А Гурьин дал понять,

что ему на все наплевать. Всю неделю он собирался выезжать на тепличной клубнике и помидорах. Это было надежнее, чем мясо. По крайней мере, не пахло ничем вообще. Успокоенность Гурьина раздражала Ивана Сергеевича, и он нудил:

– Гурьин, а ведь клубника должна пахнуть. Клубникой!

– Ну, знаете! – взвыл Гурьин. – Я вам не фокусник!

Иван Сергеевич удовлетворенно хмыкнул и добавил:

– И не успокаиваться, Гурьин, не успокаиваться!

– А почему, собственно? – возразил Гурьин.

– А потому что на нас лежит ответственность за всю страну!

Гурьин дико посмотрел на Ивана Сергеевича:

– Да вы что, с ума сошли? Вы еще им об этом скажите!

– В самом деле, – встряла Элла. – Ну, приехали, ну, американцы, ну и что?

– Вам «ну и что», – подковырнул Иван Сергеевич, – за вас академия работает, а мы за себя можем только сами постоять!

– Ой, ну надо же! – только и смогла ответить Элла.

Риты вообще не было видно. Она крутилась на этаже между номерами и умывальной комнатой. Иван Сергеевич боялся ее трогать и сморщился, когда Элла вспомнила:

– А Ритуля у нас голова...

Иван Сергеевич напрягся:

– То есть?

– То есть? – переспросила Элла. И вдруг наклонилась поближе и прошептала: – Только вы никому, а то шуму не оберемся!

Иван Сергеевич нервно повел шеей:

– Ну?

– С полотенцами теперь все в порядке. Рита дежурит у мусорных контейнеров.

– Ну и что? – не понял Иван Сергеевич.

– Что – ну и что? – обиделась Элла. – Караулит полотенца, вытаскивает их и проглаживает.

Иван Сергеевич онемел. А Элла сказала:

– Это мы придумали. Вдвоем.

– И долго думали? – заорал Иван Сергеевич.

– Ночь, – с обидой произнесла Элла. – А что, у вас есть другие варианты?

Иван Сергеевич скис: других вариантов у него не было. Поэтому он сначала выругался, а потом грустно сказал:

– Продолжать. Но упаси бог, если американцы вас на этом поймают!

– Да что вы! Им это в голову не придет! – Элла заговорщически подмигнула и ушла успокаивать Гурьина. Клубника американцам понравилась, хотя они и дивились, как это на одной грядке может расти такая разнорослица. Но это Гурьина еще больше раздражило, на Эллу он наорал и закрылся в кухне с помидорами. Помидоры тоже были разноростными, и Гурьин решил подать их в салате.

К концу недели наступило спокойствие. Мнс пустил по кругу анкету. На главный вопрос, который особенно волновал Ивана Сергеевича: «Хотите ли вы вновь приехать в Советский Союз?» – сто процентов ответили «да».

На радостях Иван Сергеевич заготовил для Риты грамоту «За изобретательность и аккуратность», а Гурьину обещал дать дополнительно пять дней к отпуску. Для мнс Иван Сергеевич не мог сделать ничего. Он подумал и дал благодарственный звонок в Москву. Но в академии сухо ответили, что о способностях мнс в курсе. Иван Сергеевич даже обиделся за мнс. Они так все сроднились в эти беспокойные дни! И вот пришел последний.

Иван Сергеевич почти ликовал, готовясь к отвальному вечеру, когда в гостиницу ввалилась бабка. В руке она держала детское ведерко, из которого шла страшная вонь. Бабка спросила американцев, и у Ивана Сергеевича глаза полезли на лоб. Одной рукой он поправил праздничную «бабочку», а другой показал на дверь. Но бабка не вышла, а нагло проскочила в ресторанный зал. Иван Сергеевич обомлел, когда увидел бабку с вонючим ведерком за праздничным столом американцев. Они что-то

громко передавали ей через мнс, и бабка улыбалась. Положась на разум мнс, Иван Сергеевич остался стоять в дверях. Он мог еще понять, что молодые брезгливые мальчишки из Америки терпят за столом старуху, терпят ее ведерко под столом, но почему вдруг один из них снял кроссовки и через стол протянул их ей – это было совсем не ясно. И Ивана Сергеевича вдруг охватила огромная обида:

– Идут кто ни попадя с улицы! А тут стараешься, упираешься, крутишься!..

Американцы вывалили в холл, гогочущие, один прямо в светлых носках. Бабка прижимала к груди белые кроссовки, и Иван Сергеевич с тоской подумал: «А почему, собственно, ей?!» Старуха ушла, забыв ведерко с пекарями посреди ресторана.

Через час американцы съехали.

Январь, 1991 г.

ОДИН БИЛЕТ В БОЛГАРИЮ

Надо открыть глаза, легко и весело посмотреть по сторонам, сказать что-нибудь вроде: «О! Уже утро! Надо же...» Или лучше: «Привет, дорогой...» Хотя бы фильм какой-нибудь вспомнить, как там это делается. Хорошо бы западный. В них особенно легко и весело дамы просыпаются по утрам в чужих постелях. Уже давно, минут двадцать, как пора перестать подкатывать глаза, чтобы не дрожали ресницы. Пора что-нибудь сказать. И уж всем ни к чему думать о том, что ты «дура дремучая», как говорит Лев, и что чужие подушки не для твоей пустой головы.

– Катюша... – Гоша ведет пальцем по тоненьким морщинкам на лбу. – Какую женщину в тебе погубили, Катюша...

Вот и не надо ничего говорить. И так и не вспомнив фильма, можно открыть глаза.

– Где мы, ты узнал?

– А есть разница? Ну, Урюпинск какой-нибудь...

Миленькое дело. Дома голодный сын, голодный кот, у Ирки свадьбы в разгаре. А тут Урюпинск.

– Ехать надо, Гоша. Выйди, оденусь.

– Не выйду, Катя. Я на тебя смотреть буду. Я на тебя теперь долго смотреть буду...

За окном каштаны и небо. Чьи-то каштаны, чье-то небо. Чьи-то дома, чьи-то окна. Особенно окна – как глаз вчерашней администраторши:

– В гостинице есть номера, если у вас есть паспорта!

– Конечно, есть. Все мы советские люди, и у нас у всех есть паспорта. – Съездить бы ей по носу за мутную улыбочку на губах. Но вмешивается Гоша:

– Посиди, Катя. Вот здесь.

Ага. Вот здесь, под большим африканским кустом в деревянной бочке. Катя посидит, а Гоша все уладит. Но тут еще голос. Молодой и совершенно лишний:

– Почему?! Почему я не имею права в своей стране встречаться там, где я хочу? Почему я не могу взять номер и побыть вечер с человеком? Почему я должен обязательно искать лавочки в грязных парках и снимать углы у забытой богом старушки? – Молодой офицерик, не обломанный еще. Вот и кричит: – Мы приличные люди! Мы нормальные люди с нормальными желаниями, и прошу относиться ко мне по-человечески!

– Слушаю вас! – В глаза администраторши отражается пыльная лампочка и африканская флора в огуречной кадке. А он кричит. Требуя к себе человеческого отношения.

– С приличными дамами сидят дома, не по гостиницам бродят, товарищ клиент!

Так и кричат, стоя по разные стороны барьера. Переводчиков нет. Живи как хочешь. Стой и ори на своем языке. А тебе – на своем. Всем весело.

Катя поднимается вслед за Гошей по скрипучей, похожей на дачную лестнице.

– Гоша, а как ты думаешь, где проходит грань между приличной дамой и... неприличной?

– Катя! Начинаются комплексы!

– Говорят, на Западе считается приличной связь, если твой попечитель высокого ранга. А если так, баламут, то это у него уже не дама, а...

– Баламутка!

– Да! Но ты у меня, Гоша, высокого ранга человек. Значит, я могу считать себя приличной дамой. – Катя серьезно размышляет. И Гоша смеется над ее серьезностью.

– Катюша, я тебе другую оправу привезу, тебе эта не идет.

– Привези, – Катя снимает очки и вертит их в руках. – Оправа как оправка. Чего она тебе не нравится?

– Мне все в тебе, Катя, нравится. Даже твоя дурацкая оправка.

Стоят на лестнице, как дети. Гоша руку гладит. А на руки вообще стыд смотреть. Разе с такими в любовь бросаются? Сидела бы уж дома, красивые страницы про чужие страсти читала. Что-нибудь там про залы, ананасы с миндалем...

– Катюша, а город называется Зареченск. Улица Свиридова. Гостиница «Уют».

– Ясно.

– Катя! Ну что за настроение?!

– А почему Свиридова?

– Улица? Не знаю. Композитора Свиридова, наверное. Помнишь, «Метель»...

– Помню, Гоша. Нам только метели не хватало. Давай уедем.

Гоша, человек «высокого ранга», сидит у коленок, пояска на палец наматывает.

– Славная ты у меня, Катя.

– Да-да. Хороша Маша, да не ваша.

– Юмор у тебя, Катя, серый, мышинный. И хочется тебе, Катя, в норку. Но душа у тебя, Катя, больше норы. И тошно тебе

от этого, и страшно выбраться. И станешь ты, Катя, вскорости душевным мутантом. И тогда я задушу твоего мужа собственными руками. Если бы я мог подумать, что ты так рано замуж выйдешь...

– Кабы да если, сидели под креслом. Не порть, Гоша, свидания. Я от этого лета многого хочу.

– Уже хочешь?

– Уже...

– Ма! Давай анекдот?

– Давай.

Лежат на полу у телевизора с выключенным звуком. Вадька длинными руками машет, несет что-то про иностранца, который к русскому в гости пришел и всем восхищается: ах, как чисто! Это горничная? Ах, как вкусно! Это кухарка? Ах, какие детки! Это гувернантка? Ах, жена? Еще и работает? И что, простите, с этой лошадью вы еще и спите?!

– Вадька, ты обнаглел.

– Да ты оцени, ма.

– Хороший анекдот. Как раз про меня.

Вадька расстраивается:

– Вечно ты, ма, «про меня, про тебя, про свекровь, про тещу...» Ну чего ты?

– Цветов хочу, Вадька. Цветов, духов, конфет, шампанского...

– Короче, внимания.

– Да. Представь. Лежу себе на пузе перед телевизором и хочу внимания. Сейчас вторая серия начнется, он ей опять ноги целовать будет. А я не помню, когда в последний раз из халата в платье переодевалась.

– Ну переоденься.

– Зачем?

– Ты же хочешь!

– В том-то и дело, что не хочу. И вообще, стала старая и толстая. Не спорь, толстая, все равно толстая! – Катя вскакивает, затыкает уши и кричит: – Толстая, толстая...

Вадька, скосив рот, понимающе вертит пальцем у виска. Катя обижается и снова падает на живот, уткнувшись носом в спальник. Он пахнет лесом и костром, пахнет короткой ночью в лесу – с Гошей. И чуть-чуть лужами кота Пуцика.

– Вадька! Кота выкину! – злится Катя. – Дышать нечем!

– Лучше спальник выкини, – бурчит Вадька. – Купи ковер. Живем, как в сарае.

– Вадька, вся жизнь – сарай, ты не заметил? У нас все, как в сарае! Ты посмотри, как мы живем! Что мы едим? Во что мы одеты? Что за люди ходят к нам? О чем мы говорим? И самое ужасное, что не мы одни. Ну, были бы мы такие вот неумехи, недотепы... А то ведь... все. Все! Вадька, жить тошно.

– Кто все? – заводится Вадька. – Это у нас сарай. А Фомичевы вон машину купили, кошка об велюр когти точит...

– «Купили»... Смех! Один к десяти с дедами. Фомичевы – рубль, а деды – десять тысяч. Я б тоже так хотела.

Вадька вздыхает и включает у телевизора звук.

– Давай покурим, а? – Катя сидит, подтянув колени к подбородку.

– Ну, ма! С тобой с ума сойдешь. Вчера все из карманов вытряхивала, сегодня...

– Давай. Авторитет мой все равно подмочен, – ноет Катя.

Вадька неопределенно пожимает плечами. Когда в доме за восемнадцать лет ничего не происходит, а потом начинает происходить, значит, с самого начала было что-то ненормально.

Вадька курит. Думает об отце, о реферате, так и не написанном за лето – про разрушительный период ледников.

– Ма, а что отец пишет?

– Ничего.

– Вообще ничего?

– Вообще.

Люди бегут. Бегут озабоченные, злые, недовольные. Или кажется. Что такие – кажется.

Катя сидит у подоконника, обняв веник, и смотрит на улицу. А люди бегут. Туда – обратно. Туда – пустые, обратно – с авоськами. Вроде рыбу завезли, сходить бы. Потом нажарить, накормить худого Вадьку, Пуцика, похожего на сардельку, и самой налопаться. И плевать на все. Пусть растет живот, пусть наплывают бока, пусть отвисают жабры. В таком возрасте можно позволить себе немного жиру и равнодушия. Катя стоит, прижав веник к груди и постукивая книжицей по подоконнику.

– Ма! Минтай привезли! – Вадька вламывается, топочет, как слон. Соседи внизу тихо умирают. – Пойдем постоим, а?

– Вадим! – стальным голосом произносит Катя. – Вадим, что ты читаешь?

– Как все в моем возрасте, я читаю исключительно книги. Ну, еще «Технику – молодежи».

– А это что? – Катя трясет книжкой, как флажком на параде. По полу разлетаются странички с ксероксом.

– Это, ма, тоже своего рода «Техника – молодежи».

– Пошляк! Хам! Циник! Вадька, как тебе не стыдно мне это говорить. – Кате обидно. Не за книжку, а так, вообще обидно.

– А что? – Вадька не может, когда Катя сердится. – Подумаешь. Ничего в ней особенного. – Вадька поднимает обложку. – Ну, «Искусство любить».

Катя потерянно смотрит, не представляя, что дальше делать. Вадька собирает странички и смеется.

– Ма! А мне особенно «кузнечик» понравился. – Вадька пытается изобразить и давится от смеха. Катя снимает очки и тоже начинает хохотать.

– Вадька, пошляк! Ну как ты можешь! – Катя шлепает Вадьку веником по спине, пока, споткнувшись, не валятся оба на пол. Сидят, смотрят друг на друга. Вадька страничку в книжке подравнивает.

– Ма! – говорит, кивая на книжку. – А вообще все это надо?

Катя молчит – на веник уставилась. Вадька пристаёт:

– А, ма! Все это – как? Интересно?

– Не знаю.

Вадька хмыкает:

– Странная ты женщина.

– Это не я странная, это папа у нас странный, – говорит Катя.

Вадька умолкает. Думает об отце и о том, что нет от него писем.

– За минтаем-то пойдем?

– Пойдем! – Катя поднимается.

В прихожей она смотрит через зеркало на Вадьку.

– Здоровый ты стал. А я до сих пор люблю тебя, как маленького – до самой последней волосинки на твоей дурной башке.

– Лучше бы ты кого-нибудь любила, ей-богу.

– А ты не лезь не в свои дела.

Вадька улыбается и с поклоном пропускает Катю в дверь. Она не выходит, а повиснув у Вадьки на шее, тихо спрашивает:

– А ты смог бы меня сейчас на руках пронести, а? Хоть чуть-чуть? – Кате стыдно перед ним. А Вадька подхватывает ее на руки и медленно шагает по ступенькам вниз. Она крепко держится за Вадькину шею, чтобы ему было легче, и ей до жути хочется, чтобы кто-нибудь встретился. Тогда можно смутиться, задрыгать ногами и сползти с Вадькиных рук. Но он уже пинает дверь, торжественно опускает Катю на крыльцо. Орет:

– А теперь бегом, пока рыбу не разобрали!

К вечеру в подъезде стоял рыбий чад. А Катя передумала жарить рыбу, затолкала ее в морозилку. Посмотрела вокруг: веник, тот так и валялся посреди Вадькиного хлама, а Пуцик нагло спал на подушке. Катя схватила веник и шлепнула Пуцика по толстой спине. Кот прижал уши и спрятал голову в живот.

– Сарай! – жалко сказала Катя. – Не дом, а сарай...

– Ма! – Вадька выходит из ванной. – Табаком прет.

Катя морщится, но помалкивает.

– Сегодня Клара в гости придет.

– С чего ты взял?

– А у нее пирогом пахнет.

И скоро действительно «загружается» Клара – с огромным пирогом.

– Здравсьте!

– Привет! – Вадька прямо пляшет вокруг Клары. Катя злится, что Клара все умеет: и стряпать, и шить, и вязать – и вечно суется со своим умением в их с Вадькой жизнь. Они уже гремят чашками на кухне, обязательно что-нибудь расколотят. Потом Клара станет от чая мокрая и красная, будет сидеть до двух ночи.

– От таких людей надо себя ограждать, – говорил муж.

Но как оградиться, если квартира уже наполняется запахом. Теплым и душистым, как сама Клара. И дом кажется меньше похожим на сарай, больше – на дом.

– ...Ты вот совсем ничего не ешь, Кать, – говорит Клара. – Я так нет. Почему – как заново на свет народилась! – Клара от души улыбается – сразу всем лицом. Сидит, огромная, шумно вздыхает... Вадька уписывает рыбный пирог, и Клара довольна.

– Вот и разнесло тебя к тридцати годам! – Катя с Klarой не церемонится.

– Да это не беда, – говорит Клара. И щеки ее надуваются от улыбки, как маленькие воздушные шары...

– Клара похожа на лопнувший арбуз, – утверждает Вадька.

– Нельзя так говорить о женщине, – отвечает Катя.

– Какая же она женщина! – Вадька сидит на полу возле Катиной кровати и рассуждает. – Клара – это большая теплая шуба, это спелый минусинский помидор, это гурьевская каша с клубникой...

Катя смеется.

– Но в отличие от некоторых женщин, Клара хорошо следит за собой. Она каждый день моет голову лопухом! – Вадька выкрикивает последнее слово и отскакивает к двери. Катя бросает в него будильник и кричит с обидой:

– Как он только на голове у нее не вырос!

Вадька хихикает. Катя отворачивается к стене и плачет.

– Ма! – Вадька гладит Катю по голове. – Ма, давай я у Клары лопух возьму и тебе голову вымою, а?

– Не хочу, – говорит Катя. – Я, Вадька, к нему хочу. Он меня тоже по голове гладил. Что делать, а?

– Езжай, – говорит Вадька.

Катя открывает мокрые глаза и убирает Вадькину руку.

– Я не к отцу, Вадька. Я к нему...

– Не знаю, ма. – Вадька отворачивается. – Я тут без тебя проживу. Сама решай.

– Вадька, ты что?! Как это «проживу»?

– Езжай, – переживает Вадька. – Я на тебя такую смотреть не могу.

– На какую?

– Такую! Чего в магазине раскричалась? Волосы в разные стороны, нос покраснел! «Почему одна касса работает? Пусть директор за кассу садится, если работу наладить не может!» Ну что тебе до этого магазина, до его директора? Тебе рыбу дали? Вот и ешь. И живи спокойно.

– Вадька, – качает Катя головой, – нельзя так жить. Мы ж как юродивые: кланяемся за все, что ни кинут, плачем, если бьют...

– Ну а при чем тут магазин? Чего ты до них докопалась?

– Я к нему хочу, – бубнит Катя. – Я, Вадька, без него все вижу, будто в лупу смотрю. И все мы через это стекло такие уродцы, такие несчастные, такие страшные...

– Короче, готовься. Я пошел Ирке звонить.

На переговоры пошли вместе. Катя слышала, как в кабинках громко, наперебой кричали люди. Кричали о том, что у них все в порядке и им ничего не надо. А Кате надо. Сейчас пойдет и будет тоже, как полагается, орать в трубку. А что, собственно, надо? Чтоб рядом был Гоша? Чтоб пойти с ним, куда поведет? Чтобы снова лес и дождь по палатке? Пока бабье лето не кончилось. Пока от него можно еще чего-то ждать.

– По номеру, по номеру... Пройдите...

– Катюша! – визжит в трубке Ирка. – Катюша! Тебе Гоша посылку прислал. Там шампунь и всякая всячина. Можно, а?

– Можно, можно, – говорит Катя.

– Ой, Кать, не мужик, а сплошная забота. И что в тебе, Катька, такого?

– Надолго уехал?

– Ой, Кать, пишет – на месяц, до ноября. Люби-и-т, Катька...

– Да ладно. Как жизнь?

Ирка, спохватившись, начинает тоже кричать. Хотя хорошо слышно, будто сидят в одной комнате.

– Катюш, а что звонишь? Случилось что-нибудь? Племянничек мой там что-то вытворил?

– Да нет. Так. Соскучилась.

Ирка еще что-то кричит. Вадька за стеклянной стенкой головой дергает.

– Поеду, – говорит Катя Вадьке на улице. – Я поеду, ладно? Ты ж один выдержишься?

– Ма! – Вадька завертывает переговорную квитанцию в бантик. – Я его убью, если что. Ты у меня одна, и я у тебя один, и он нас с тобой распополамил. И если что, я ему такую трепанацию черепа сделаю, что он уже ни на одном языке говорить не сможет.

– Не хами. Не хами, Вадька. Хороший человек.

– Уж чего лучше, – бурчит Вадька. Но он уже согласен. Потому что надо, чтобы она, Катя, кого-нибудь любила. Чтобы не была «старая и толстая» и чтобы не заталкивала рыбу в морозильник, а стряпала пироги. Как Клара, похожая на неизвестно что, но спелое и здоровое.

– Пойдем хоть на выставку сходим, – говорит Вадька.

– Пойдем. А что там?

– Не знаю.

На выставке оказались старые портреты старых портретистов.

Вадьке больше всего хотелось потрогать пальцем краску: действительно ли старая. А то трещины, как нарисованные.

– Вадька, не дури, – шепчет Катя. – Вдруг здесь кругом сигнализация.

– Ага. Бомба с замедленным действием.

Так и ушли, ничего не запомнив, кроме собственного шепота. А Кате еще понравился швейцар. Седой старик вышел из-за стойки и подал ей плащ. Приятно, что в рукава сразу попала. А то могло выйти, как говорит Вадька: «Что называется – ляп!» Ничего, ляпа не получилось, только кожа – иголочками.

– Так я лечу, Вадь? – спрашивает Катя.

– Летишь, летишь! – Вадька недоволен. Непонятно, чем. – Тебе, мама, перо еще прикрепить! Для полета!

– Ну что хамишь, Вадька, – Катя обижается.

– А чего ты, – злится Вадька, – как девочка? Веди себя серьезно. А то смоемся твоя любовь, и полюбить как следует не успеешь.

– А ты думаешь, самое главное успеть? А потом неважно что, да?

– Конечно, – говорит Вадька. – В сорок лет пора знать, что это такое. Я только потому тебя и отпускаю.

– Ну и не в сорок, допустим, а поменьше.

– Ой, ма, да ты у меня еще и кокетка!

Катя смеется. Ей хочется быть кокеткой, хочется быть пустышкой. Вадька это чувствует.

– Тебе билет купить или сама?

– Сама, Вадь, сама.

Когда Кате надо, ей везет. Катя это знает и улыбается. Так и улетаёт – улыбаясь.

А Вадька идет к Кларе. От Клары можно позвонить. Она – важное лицо в библиотеке, и у нее за книжным стеллажом, под шторами, есть телефон.

– Что ты тряпок повесила? Как в деревне! – ворчит Вадька.

– Кровать отгородила, – говорит, улыбаясь, Клара. – Книжная пыль очень вредная.

– Что, и такая есть? – не верит Вадька.

– Конечно, – Клара поправляет портьеры и ждет, пока Вадька позвонит. Потом хихикает: – Я вот матери про Свету-то передам.

– Что? – Вадька смотрит на толстое лицо Клары, и ему противно. – Что вы все разулыбались сегодня? Смотреть тошно.

– Ты чего, Вадь? – беспокоится Клара.

– Ничего! – орет Вадька. – Пирогов твоих объелся.

Клара открывает мокрый рот и долго смотрит на дверь, где скрылся Вадька.

– Господи! И как у него на такой спице голова держится! И мамашка, нет чтобы сготовить что-нибудь...

Катя вернулась на следующий день. Плача, обнимала Вадьку и говорила, что она самая глупая женщина, самая дурная мать, которую только можно себе вообразить. Вадька не отбрыкивался, как раньше. Стоял, прижавшись к ней всем телом. Катя водила руками по его острым лопаткам, лепетала:

– Вадька, какой ты худой. Я тебя откормлю. Сейчас пойдем к Кларе и будем стряпать пироги. От пирогов толстеют. Я тебя откормлю. Я тебя обошью, обвяжу... Вадька, у меня есть только ты. Как я могла уехать!..

Вадька стоял, как прибитый гвоздем.

– Кстати, папа приезжает. – Вадька протянул телеграмму.

Катя шарахнулась в сторону.

– Зачем? Вадик, милый, зачем он приезжает?

– Ты чего, ма? Боишься, что ли?

Катя опустила на спальник, сняла очки и бессмысленно уставилась на Вадьку. Вадька закурил. Нагло, без спроса. Катю было больно видеть.

– Ну чего ты?

Катя поежилась. Села, совсем сжав плечи.

– Вадим, я в сорок лет впервые изменила твоему отцу. Но Гоша – это все, что есть у меня в жизни. Я только в это лето

за все годы поняла, как пахнут подаренные цветы. Как хороши духи, когда их дарят не по датам, а так, с нелепыми для подношения словами: «Моя прилична дама, пот это – ваши духи...» И вообще, что это такое – прическа, платье, настроение... Это, Вадька, как Новый год в июне! Как картины импрессионистов! Помнишь, «Завтрак на траве» Моне, что ли... Так вот они собрались все там: кто такие, чьи мужья, чьи жены – какая разница. Нам совсем непонятно и даже неинтересно, кем предстанут они завтра: клерками, адвокатами, министрами – важно, что в этот момент все именно так – остановилось все, действия нет, не получается оно, не придумывается. И им всем на это начинать, тем, кто завтракает, и нам, тем, кто за ними подглядывает.

Вадька ошарашенно смотрит на Катю. Вертится в голове идиотская фраза. И он ее произносит:

– Ты заболела? У тебя голова горячая. И руки. Полежи, а?

– Вадька, – плачет Катя, – мне даже сказать об этом больше некому...

– Ма, давай ты ляжешь. Иначе я врача вызову!

Катя сникает. Врачей она боится. Боится диагнозов, предложений... Вадька этим пользуется.

– Только здесь, ладно? – Катя, не сводя с Вадьки глаз, кивает на спальник.

– Он же воняет, – говорит Вадька.

– Господи, милый кот, вполне приличный кот, ничего страшного...

Катя несла такую околесицу, что становилось жутко. Что-то еще об импрессионистах, о звездах, которые дарят нам стотысячной старости свет, а мы от этого еще и счастливы, о том, как полезно знать много языков...

Вадька подмешал в чай тазепама, спойл его Кате и лег рядом перед телевизором с выключенным звуком. Начиналась следующая серия, где уже никто никому не целовал ноги, а наоборот – все разводились и пересчитывали ложки. Вадька тупо смотрел на экран и думал о том, насколько прав отец, повторивший чью-то фразу: «Забота – это созидание!»

Катя всю жизнь сидела дома. Кормила мужа, стирала Вадькины пеленки, потом – штанишки, потом – штаны, потом – брюки. Со-зи-да-ла! И вот – муж создан, Вадька создан. А Катя создается только сейчас. Виноват муж? Или Вадька? Или Гоша? Или Катя? Рассеянная, бестолковая, не успевшая попутно создать и себя.

Вадьке хотелось есть. «Хоть бы Клара пришла», – подумал он. Хотелось видеть и Лильку. Маленькую, усталую свою подружку, сказавшую как-то:

– Книжка, Вадик, о том, что такое хорошо и что такое плохо, сдана в утиль. Спрос давно на другую: как жить, чтобы делать только хорошо и ничего – плохо.

Утром явилась Клара, испугав Катю звонком. Пуцик сходил с ума от Клары: она раздражала его обоняние до дикого кошачьего воя. Вадька утащил кота в кухню и начал строгать ножом замерзший минтай. Катя тоже пришла в кухню и стала напряженно смотреть на нож, которым орудовал Вадька. Он остановился, бросил коту две смерзшиеся рыбины, подошел к Кате:

– Ма, кончай. Я не могу на тебя смотреть. Ну чего ты, в самом деле?

Клара стояла, прикрыв рот рукой.

– Есть у тебя что-нибудь? – спросил Вадька.

– А?

– Ну что-нибудь? Травы там какая-нибудь, лопух или что там еще?..

Клара закивала, слабо соображая, чего от нее хотят, и, не отрываясь, смотрела на Катю.

– Есть травы, – наконец сказала она. – Но бабку бы надо.

– Какую бабку? Сама заваривать не умеешь, что ли? – не понял Вадька.

– Да нет! – Клара сердито махнула рукой. – Пошептать бы надо. Видишь, что с ней. Сама не своя.

– Так что стоишь? – заорал Вадька. – Давай свою бабку! –

Вадька тоже испугался. Казалось, вместе с Катей уходит из-под ног земля.

– Да что вы, ребята, – неожиданно произнесла Катя. И как-то криво, извиняясь, улыбнулась. – Нормально все. Таблеток ты мне, Вадька, что ли, напихал?

Она хотела еще и еще улыбаться. И еще что-нибудь говорить. Чтобы всем стало легко. И Вадька понял это ее желание. И не своим голосом завопил:

– Опять?! Опять «созидаешь»? Опять заботишься? – Он кинулся вдруг на Катю, затряс, ухватившись за ее плечи. – Сколько ж можно! Только что от этого открещивалась и снова? Не дам! Не дам!..

Клара очнулась, обхватила Вадьку огромными руками, зажала, как прут в кулаке. Вадька обмяк. Сказал, отдышавшись:

– Ладно,пусти. Больно.

Клара разжала руки. Вадька подвигал плечами, покосился на нее:

– Ну и руки у тебя. Как у слона ноги.

Клара довольно хохотнула:

– Тем и живы. У нас в родове все такие...

Катя сидела, скорчившись. Смотрела на Клару. На Вадьку смотрела. На Пуцика, растащившего рыбу по всей кухне.

– Сарай! – воскликнула весело Клара. – Сарай, а не хата.

– Вот только занавесочек нам твоих не хватает! – защищаясь, ответил Вадька. А Катя уже дремала, не слушая. И даже не чувствовала, как Клара перенесла ее на кровать.

– ...Гоша, а у нас с тобой что, роман?

– Да ну, Катюша, даже на рассказ не наберется.

– А кажется – так всего много, так все сразу...

– Это, Катюша, не кажется. Это так и есть.

Катя чувствует, какая у нее маленькая рука под Гошиной ладонью.

– Гоша, почему все так по-другому?

– Это я, Катя, твою душу из мышиной норки выживаю. На белый свет.

– А почему так поздно все это со мной? Почему не раньше? Не в двадцать? Не в тридцать?

– Поздними, Катя, бывают только вечера.

– Или груши, – вставляет Катя.

– Или осень, – добавляет Гоша.

– Ага. Люблю позднюю осень, – говорит Катя.

– Фу, как банально, – морщится Гоша. – Давай лучше лето любить. Лето. Июнь.

– Давай...

Можно легко открыть глаза. Легко посмотреть по сторонам. Позвать Вадьку, позвать Клару, завести пироги...

– Вставай, – говорит Вадька. – Вставай, хватит. Лети. Лети и просто так не возвращайся.

– Куда? – улыбается Катя. – Он же в Болгарии.

– В Болгарию лети. Жить тошно...

РИСУНОК НА СТЕНЕ

Снова снились рыбы. Волшебные рыбы с тонкими серебряными плавниками и голубыми глазами. Одна все так же тыкалась в дрожащие листья кувшинки, как в каждом сне. Незаметно появлялись и таяли розовые камыши. Тонкая детская рука тянулась к цветку, прикрывала его, и тогда рыба стояла, уткнувшись в руку, удивленно уставясь огромным глазом в пустоту.

Здесь Мариша всегда просыпалась, огорчаясь, что сон повторился в тех же красках и вновь оборвался. Потом осторожно поднималась, шла к открытому окну окунуть руку в темноту, ощутить покой и обрести его. До утра.

– Мариша! – бабка будила ласково, жалеючи.

«Не привыкла еще», – думала Мариша. Откидывала руки на подушку, давая бабке понять, что уже не спит.

Бабка, добудившись, успокаивала, прикрывала ее снова, бормоча:

– Ну, полежи, полежи... Нам спешить непочем.

«Непочем, непочем... Теперь уже непочем...» – Мариша говорила это себе. И про себя. Научилась этому не так давно, но как-то сразу. Когда доктор сказал:

– Надеемся, моя хорошая, надеемся. – А сам подписал инвалидность пожизненно. Бессрочно.

– «Надеемся» означает, что надеяться не на что? – спросила Мариша.

Доктор умница, промолчал. Наверное, наморщил лоб. Может, провел рукой по лысине. Может быть...

Мариша идет к окну и подставляет ладони дождю. Лето. Можно догадаться, что творится сейчас с людьми... Хочется видеть солнце. Солнце, какое оно есть на самом деле, – жадное, одинокое, похожее на каштан. А вот сегодня идет дождь. Бабка не пустит гулять. Если улизнуть, бабка пойдет следом. Будет идти и притворяться, что ее нет. А дома потом станет выть потихоньку, прячась в своей комнатке... Нужно было ослепнуть, чтобы понять, сколько в ней нежности.

– Завтракать пойдем, Мариша, – входит бабка. – Не стой на дождю-то. Пойдем. Я творожок сделала. Свой.

Мариша представляет, как бабка поутру несет банку с простоквашей. Нарисовать бы чистую звонкую баночку, рыхлую, с пузырьками простоквашу. И бабку. Бабку бы нарисовать. Углем – на белой стене.

Сегодня дождь, и можно позволить себе расслабиться: подумать о рисунках, о мечте, перечеркнутой бессрочностью, о запрятанных далеко-далеко, неотточенных, о растоптанных в пыль мелках. Потом пойти на речку, найти и нарисовать на мокром песке солнце, похожее на каштан...

– Чего молчишь-то, Мариша? Чай, не немая, не глухая. Изболелось все у меня уже... – бабушка старается говорить спокойно.

– А что говорить-то, бабуля? – Мариша собирает волосы в пучок. – Подкрась мне лучше ресницы, а? Я сейчас, наверное, некрасивая стала, да?

– Да что ты, золотая моя, какого рожна еще надо, с твоим-то личиком?.. – Вот и расплакалась бабушка. Лучше б молчать.

– Славная ты у меня, бабуля. Мудрая. Скажи, какого ж рожна мне надо?

– А, Мариша, внуча ты моя, главное – люди вокруг тебя есть. Не озлись только, они и помогут. Люди всегда такие: где беда, там и кучнее.

– Люди? Да ну, бабуля! У них своих забот полон рот. Сейчас бегут по лужам, нервничают, что зонтики дома забыли, что погода нелетная... Не до этого им.

– Полно, Мариша, – бабушка шмыгает носом (наверное, в подол фартука – есть у нее такая привычка).

«Полно, полно... – Мариша переходит на разговор с собой. – Ксюха вот, сестричка, насквозь родная, а почитать не допросишься. Вчера заключили «контракт»: Ксюха два часа читает, а Мариша ей ночью втихую дверь откроет, чтоб бабушка не пронюхала. Мариша согласилась: нет ничего проще пройти в темноте по-кошачьи неслышно и сбросить цепочку. Зато Ксюха потом, если в настроении, может согласиться еще почитать. Или прибежит поболтать, все новости, как сорока на хвосте, принесет... Но это все потом, после утомительного дня: вчера – с солнцем, сегодня – с дождем».

Бабушка в последние дни примечает, что Мариша мается. Спросить боится, все вытягивает на разговор, а выходят пока только слезы. Бабушкины. Мариша свои, видно, уже отплакала. Только вот еще больше похудела. И сейчас ест едва-едва.

– Мариша, я тебе девку нашла. Магией она занимается. Черной. Страшное дело! Может, сходим? Вдруг...

– Отстань, бабуль... – Мариша бросает творог и уходит в

комнаты. Бабушка тихонько крадется следом. – Да оставь ты меня, бабуля! – Мариша говорит, не оборачиваясь, и от этого бабушке страшно.

– Да и так ведь все одна да одна. Люди вокруг, а ты...

«А я их ненавижу. Каждого идущего мне навстречу – ненавижу. И только оставляя за собой, начинаю любить. За то, что смолчал, не оглянулся, не увидел меня, ничего не шепнул соседку...»

– Любить людей-то надо, Мариша, – поучает бабушка.

– А я и люблю. А тебя больше всех. Но только магии не надо. Я и без этого долго жить буду. Бессрочная у меня жизнь. Так доктор сказал. Как у Кощея Бессмертного.

– Вот уж точно, как Кощей. Худа-то. Одни глаза и остались... – ворчит бабушка уже далеко, в кухне, гремит посудой – значит, расстроилась.

«Где же они теперь?» – Мариша проходит к стене и легко пробует пальцами – вроде бы ничего... А может, пальцы грубые, не чувствуют. Уже несколько дней ищет, после того как сделали в квартире ремонт. Два года жили среди розовых камышей серебристые рыбины – в детском рисунке на стене. Так Мариша тогда захотела. Согласились все, даже бабушка ворчала недолго. А Мариша выбирала цвета: розовый, серебряный и голубой. Отец похвалил:

– Вкус есть.

«Пощадил», – подумала Мариша. Сейчас бы другие цвета взяла. Сейчас бы красный – сочный, синий – густого цвета, серебряный убрать, оставить белым пятном... Рыбы вышли бы сильными, с тугими белыми плавниками, крепкими, вечными. Отец бы промолчал.

Интересно, как они сделали рисунок? Обещали ведь. Мол, побелим стены, вернем рисунок таким, как был. Смешные. Таким может быть только мгновение. Долгое, как слово «пожизненно» в инвалидской книжке.

Где же рисунок? Вернули они его? Мариша не спрашивала. Мать с отцом ничего не говорили. Правда, тогда спросили осторожно:

– Мариша, стену побелим, потом все вернем. Ты как, не против?

Мариша вздрогнула и негромко, как бы про себя, сказала бесцветно:

– Как хотите...

Мать забеливала рыбам глаза и приговаривала что-то вроде, мол, свежее станет, легче дышать...

– Бабуля!

– Аюшки! – бабуля, как преданный страж, всегда рядом.

– Только честно, ладно?

– Да, моя золотая...

– Вернули рисунок?

– О господи, да чего ты, Мариша...

– Вернули?

– Отпуск ведь сейчас, Мариша...

– Ясно.

– Отпуск у их, – засуетилась бабка. – Как явятся, так и зарисуют тебе всю стену. Ты про болото, что ли, про это, про розовое? – Не умеет бабка заискивать и уж не пыталась бы.

– Про него, бабуль. Спасибо, что не схитрила. Снится мне оно. Вот я и подумала, может, не в моей комнате нарисовали, в чужой оно не приживется.

– Какую ересь несешь, Мариша! Нарисуют у тебя, как пить дать, на твое похожее болото нарисуют. Вот увидишь... – брякнула бабка и захлопнула рот рукой.

А Мариша умолкла. Как хорошо сказала она – «вот увидишь». Все простить за это можно, даже «болото».

Тихо стало в комнате. Слышно было, как падал с неба дождь, светлый, словно плавники ясноглазых рыб на детском рисунке. Ксюха тогда смеялась:

– Ну и нашла цвета! Откуда, Мариша?

Наверное, Ксюха взяла бы красный и синий.

– Бабуль, – Мариша прижала мокрые ладони к щекам, – заговори от сна! Устала я от него. Каждую ночь... И цвета не меняет. И обрывается на одном месте. Заговори, бабуля, от сна! Ты же умеешь! Заговори!..

Бабка тихонько завывала, впервые не таясь в своем углу, запричитала, как по неживому:

– Заговорю, Мариша, заговорю! От любой беды...

«От Кощеевой вечности не смогу», – добавила Мариша. Про себя.



Ручей. Серпентинит. 2015 г. 10х25х7см

НЕ МЫСЛИВШИЕ ЗЛА

Маме

Ночь была последняя для весны и для мамы. Окна стояли распахнутыми, на синих сопках полосками лежал туман. Встали в пороге, выброшенные из сна, несобранные. Слушали шевеление невесомой занавески. Наконец кто-то выключил вентилятор с потерявшимся пультом. Брат положил маме руку на живот, кивнул – все.

Игнорируя время суток, в комнату влетела оса, видимо, проститься. Последние дни она часто навещала маму. Теперь осу никто не прогонял и, покружив над телом, она медленно, будто шагая, а не летя, вышла в окно.

Смерть мамы была ожидаемой и даже где-то всеми жданной. И она пришла – строгим удивлением на ее лицо, обязательным чувством вины и несделанности чего-то в души близких. Именно общее желание скорого конца казалось теперь малодушием и предательством, хотя как раз этого и хотела мама. Она умирала от голода и удушья, пока болезнь поедала ее брюшину, подбираясь к легким и горлу, и, не остановимая ничем, наконец съела все. Ее ненасытный размер пугал. Казалось, все, что было телом мамы, мягким, пышным, таким очаровательным в бабушкином возрасте, опухоль втащила в себя, в тяжелый неповоротливый мешок, всосав и ткани, и кровь, оставив только подпухшие суставы.

Свою скорую кончину мама выбила в небесной канцелярии с тем же упорством, с каким жила. Ее диалоги с миром, сокрытым, потаенным от живых, мы с Сашей ночами записывали на бумажках, так и не сообразив завести для этого блокнот. Не думалось, что ее последние всенощные и заутренние беседы будут долгими и содержательными. Голос ее в эти минуты становился живым и чистым. И до последней минуты мама не перестала подсмеиваться и спорить. Даже с небесными силами.

– Здрасьте, приехали... И сколько еще? Сколько?... Устроились! И детей тут мучить...

Она вела яростные переговоры с не видимой и не слышимой нами стороной и так выторговала себе день смерти:

– Тридцать первого... хорошо, хорошо... Все. Давайте...

Утром она очнулась и сказала мне:

– Скоро уже, не переживай. Все успеешь. Я недолго...

Она будто извинялась, что доставила мне хлопот.

– Все у тебя сладится, работа, дела ... Как ты хочешь, получится... И ни за что никогда в жизни не переживай.

Потом помолчала и добавила, открыв мне секрет:

– Если бы вы знали, какой все это бред... Люба, какой бред весь этот белый свет!

Все это уже говорилось обмякшим, неповоротливым сухим языком, еле слышно.

Еще писал бумаги милиционер, кивая, пошептывая, а уже вспомнился целлофановый пакет, именно целлофановый, а не полиэтиленовый, громко шуршащий подарком из детства, пакет с вложенной пачкой тетрадок и бумаг. «Личное» – размашистым, крупным маминым почерком написанное было адресовано мне. Потом, все потом. Страшно открыть сразу и узнать что-то ненужное.

Когда тело выносили санитары, с крыши сорвалась стая голубей и заметалась у открытого окна. В этой дорассветной птичьей суеде почудилось последнее, по-настоящему прощальное, и санитары тоже остановились, положив носилки на порог, глянули на птиц, перехватили руки поудобнее и вышли.

Дед опустился на кровать против той, где только что была мама. Некоторое время он сидел отупев, раскачивался взад-вперед и пытался завывать. У него не получалось.

– Теперь надо следить, чтоб не запил, а то ж люди будут, – сказала Зойка.

Дед сидел долго, пока Зойка, шустрая братова жена, не вскинулась с уборкой. Делать это должны были по выносу покойника некровные люди. Получалось, что Зойка да Дед, мамин муж, получивший свой статус деда еще в молодости из-за шикарной бороды. Носил он ее всегда, сколько его помню, и ту пару случаев, когда сбрасывал, можно не считать, потому что его молодевшее без растительности лицо становилось глуповатым, а вздернутый нос, обнаруживаясь в самом центре обзора, портил общее впечатление от его фактуры и крепкой мужской красоты. Теперь борода его была снежно-белой, хоть и так же завидно богатой, всегда бодро летящей по ветру. К этому дню уже вынырнувший из пьянки, с подбитым глазом и содранной щекой, Дед, стоя на лоджии с сигаретой, пытался пригладить свои волосы, сильно отросшие, как и борода, и полностью седые. Его ранняя густая седина не считалась следствием горя или стресса. Тонкие психические проявления любого ряда, если и происходили в нем, то были так глубоко спрятаны, что принимались за притворство. Привычнее было, когда Дед все неприятности крыл родимым смачным словом «поебать!». Заменить его невзрачным «наплевать», «пофиг» или «разберемся» было никак нельзя. В этом похабном слове ярко прорисовывалась Дедова натура. Потому что именно такое насилие он совершал над любой бедой, о чем и заявлял, разбивая слово по слогам. Ему не было ни все равно, ни наплевать, ни пофиг.

– Дед, приходи в себя давай, мыть тут все надо, – вошла на лоджию Зойка. – Денег ему не давай, а то нажрется, – шепнула мне.

В комнате, вымытой холодной водой, в уставшей тишине зашестившегося утра Дед оглядел мамину кровать без матраса, который вместе с подушкой вынесли на балкон, икону «Всех скорбящих радость», вырезанную из календаря, дождался, пока догорит свеча, и, примерившись, лег на мамино место.

– Ты сдурел, Дед! – крикнула шепотом Зойка. И уже в голос – нам: – Ну, гляньте, ну чо это, а?

И все будто поняли, что теперь можно говорить вслух, что нет ни больного, ни покойника, что тут теперь только живые и здоровые и сохранять тишину нет смысла. Тишина умерла вместе с мамой. Она забрала ее с собой, недолгую стылую спутницу последних дней. Голос Зойки, удерживающийся всегда на ноте си, был и нужным сейчас, и невыносимым.

Дед повернулся на бок и закрыл глаза.

Зойка была третьей, закатной женой брата, из тех, которых берут со всем, что в них есть – с возрастом, с долгами, с заревой любовью, заранее соглашаясь на их правду, со всеми выросшими детьми как с родными, с радостью ожидания некрвных внуков, как собственных. Брат принял все настолько близко, что годами не виделся с единственным своим отпрыском. Первая его жена, родившая позднего сына, ушла от него, загуляв и потеряв разум от разгула.

– А Славка что? – интересовались те, кто приносил маме подробности.

– А что он? Телок...

Было в Надьке, первой Славкиной жене, какое-то природное паскудство. Не от намеренного желания, а от простого нутряного безудержья. И глазки ее, с теснотой ресниц, постоянно светились такой простой блудливой радостью, что отказывались немногие, мимоходом гася огонь молодого, неокрепшего очага или расшатывая опоры тускнеющего фасада семейной крепости. Выросшая на детдомовском сквозняке, Надька не переставала искать тепла везде, где его давали, и подолгу застревала там, где его оказывалось чуть больше. Мой уютный любовный очаг вызывал в ней плохо скрытую зависть, и только холодность, с которой мой муж держался в отношении ее достоинств, останавливала горячие Надькины порывы. У прочих же, где интеллект не поднимался выше пупа, натягивался гультфик, и Надька рвала плохо подхваченную узду. Дом у нее даже в худые време-

на оставался ухоженным, плотно набитым сундуком, в который сносились все те невозможные в детдомовской жизни предметы, что обещали семейные радости и сотворяли ощущение нажитого добра. От того же детдомства она любила праздники, сабантуйчики и щедро накрывала столы по любому поводу. Повод не заставлял себя ждать.

В телячьей радости позднего отцовства, в шаловливых жениных объятиях, в напичканной вещами и вещицами квартирке Славка многого не замечал, не хотел замечать, жил себе и жил, пока ему не указали на дверь. Так же негромко, с тем же бычьим спокойствием, с каким женился и встретил рождение сына, он собрал свой рюкзак и вышел.

– Телок! – возмущалась мама. – Обобрала его до нитки! Квартиру его продала, гараж и дачу на себя записала...

Мамины слова стреляли в воздух и не достигали цели. Славка взял отпуск и уехал на рыбалку. Родившийся будто не от женщины, а от самой природы, он был в тайге у себя дома и только там и пребывал с собой в гармонии, и только там его жизнь имела причину продолжаться.

– Не страшно тебе в тайге одному? – спрашивала я его в детстве.

– А кого бояться-то? – не понимал брат. – Людей нет, а зверь, он же умный...

Второй подругой Славки оказалась терпеливая, но дерганая Людка. Угловатая, чуть вытянутая из-за худобы, не выписанная ни одной женской формой, она обладала ясными, чистыми глазами. Цвет их был удивительный, в тон светлому ореху, с темной окантовочкой по краю зрачка. Их молчаливое приятие родилось в тихих коридорах коммуналки, но Людка тогда была замужем. И только когда жизнь ее пошла наперекосяк, закончившись разводом, она приняла Славку – с радостью, с памятью молодости об их быстрых взглядах, смущении и непереносимых столкновениях в дверях общего пользования. Он, теряясь от порядочности

новой жены и чистоты в отношениях в сравнении с бесстыжей Надькой, скоропостижно оказался мужем во второй раз. Но то ли его страсть к рыбалке, то ли Людкина склонность к занудству не скрепили запоздалого союза.

Безработица свалилась как нельзя вовремя и вытолкнула Славку на заработки, прямоком направив его в первый же день командировки в руки Зойки, пахнущие пирожками и котлетками, наработанные, но еще не уставшие, резвые до мужской силы. Как бычка к сену и теплему стойлу, Славку потянуло из приисковой гостиницы в деревянный Зойкин сруб. За Зойкиным окном звенела речка Собака, в окно влетал ветер близкой тайги. К тому же Зойка оказалась заядлой рыбачкой. Что нужно было Славке для счастья, он все нашел, во всей мере и всем объеме, простом, кухонно-утварном, но так редко доступном незатейливому мужику.

Зойкин нехитрый быт, возведенный на простых житейских нуждах предков-хакасов, испортился во время свободного кредитования всех подряд.

– Кредиты бывают двух видов, – говорил человек, знавший толк в денежных делах, – на бизнес и на потреблятельство...

Зойка поехала на потреблятельстве. Ее понесло, как несет ветром пыль, а с ней прихватывая все, что не сметено с дороги заботливой рукой уборщика. Убрать Зойку с кредитной трассы, усыпанной далеко не золотой пылью, было некому. Она рано вышла замуж, рано родила, рано осталась без мужа, рано выдала дочь, рано стала бабушкой, и к пятидесяти годам с ней уже случилось все из того событийного, что может потрясти семейный клан. И все они, и участники событий, и сами события, были моложе ее, и давно ей не указчики. Да и у каждого, как говорится, свои лыжи, и каждый вострит их в свою сторону. Семь лет она была замужем за моим братом. Семь лет они сидели в затяжных, нескончаемых ссудах, оперев все мысли о добротном счастье в долги.

Не крещенная ни снегом, ни лепестками роз, ни через помазание маслом, ни сухим очищающим возложением рук, а, как она сама говорила, «погруженная» бабкой по забытому старообрядческому смыслу, Зойка переживала Славкино некрещение с детским страхом. Будто распознают его в толпе и – утащат. Кто, куда и зачем? Да мало ли. Поэтому он носил крестик на золотой цепочке, стоял на молитве, когда перед смертью к маме приходил батюшка причастить ее, отстоял в церкви панихиду и не вздрогнул, когда с кадила слетела крышечка и подкатилась к его ногам. После долгих разговоров на кухне о православии и вере Зойка пугалась:

– Креститься надо, Слава, – и жаловалась, – но у нас же то рыбалка, то тайга...

Мама в своем коротком крещении была счастлива. Отдав себя под сень Бога на семьдесят третьем году жизни, после третьего захода в реанимацию, она перестала многого бояться. Понятия страшного греха она не успела объять, воспринимая свою жизнь уже как собственно искупление. Не добралась до диких фантастических историй об ужасно мстительном Боге, зато скоро усвоила все о Боге милостивом. Ее младенческая православная душа прикипела только к тому, что в вере было спасительным и прощающим, и не успела разобраться, почему платить за обиды. Она искренне верила, что не сотворила в жизни ни грамма зла, и всего лишь недоумевала, для чего и откуда оно встретилось ей. Мама захотела креститься исключительно из уважения.

– Явлюсь туда и что? Ни черту кочерга, ни Богу свечка...

Давала дельные советы:

– Гроб не обивайте мне пионерским галстуком. Хватит мне того, что в день комсомола родилась. Что-нибудь такое, поприличнее найдите.

Осталась верной себе:

– Жила как жила, то ладно. А туда-то надо все-таки по-человечески, все-таки там – не у нас тут...

Это было, как при жизни, или сделать генеральную уборку для себя, или быстренько «прибраться для людей». Меня радовала ее преданность себе. Она не притворялась, различая, что ею делается для проформы, а что как положено. Готовясь в путь насовсем, ей не хотелось упустить мелочи.

Мы успели пообщаться только в первый день встречи, все остальные дни стали ее уходом.

– Финиш, приехали, – посмеивалась мама, – видишь, какая красавица, ни кожи, ни рожи, одно пузо.

– Не думай об этом, – сказала я. – Роба – это не важно. И это – не финиш. Твоя душа возвращается к себе домой. Она знает, откуда родом и помнит свою прописку. Ей просто пора.

Мама подмигнула:

– Да и я устала. Пара лет, последних, точно лишними были.

– Ты ж сама просила у Богородицы пожить подольше?

– Да дураки же, годы просим, а про беды не спросим. Потом хлебаем, обратно просимся. Ты молитву за здоровье не читай, слышишь? Есть там какая-нибудь, чтоб побыстрее?

– Есть, – говорю.

– Ну, вот ее и давай.

Мы помолчали.

– Сделай мне все по правилам, как положено, – напомнила мама. Я кивнула. Со священником о причастии было уже договорено. Мне предстояло водить ее беспомощной рукой, пере-креститься сама она уже не могла.

– Хорошо, что приехала. Они же тут бестолковые, закопали б и все. Ладно, иди, а то голова от тебя кругом. Жалко, не успею тебе уже всего рассказать... Но ты напиши о нас, писательница ты моя...

– Я напишу.

Детство мамы, безбедное и короткое, закончилось в пять лет – родился брат, а через крупную сибирскую станцию на запад пошли военные эшелоны. Бревенчатый дом путейских рабочих стоял у железной дороги. Люди привыкали к дрожанию стен и дребезжанию окон. Потом вечный стук колес будет сопровождать нас по жизни. Как только в какой-нибудь точке страны начинал маячить огонек новой стройки, мама откуда-то, видимо из газет, узнавала об этом, и уже вечером на полу лежала разложенная карта, а рядом толстенная книга – «Атлас дорог». Мама вообще обожала карты и всякие справочники. У нее были книги о камнях, о деревьях, буклеты об островах, горах, путешествиях. Кроссворды разгадывала, как орешки щелкала. Последний оставила недорешенным – за неделю до смерти...

Она нянчила брата, а когда укладывала его спать, бежала на станцию обменивать масло и сливки на вещи. Бабушка держала корову, но в доме молока было мало, похлебки забеливали, но полными кружками молоко давали только больным. Денег в ходу не было.

В маленькой комнате стояла чистота, как в архиерейских покоях. Бабушка поручала начищать половицы песком и строго следила за порядком. Мамина мама и моя бабушка были в жизни два абсолютно несхожих человека. Я не могла себе вообразить, что бабушка берет в руки лозину, наказывает пятилетнюю дочку за искромсанный в полоски лоскут, который ей выдали за работу, или жестко отчитывает за неудачный обмен. Бабушка вообще была избирательна в любви. Не каждого она ею одаривала. Сыновья судьбы ее волновали куда меньше маминой и моей. Две послевоенные дочери вызывали в ней озабоченность, но так и не удостоились высших чувств. Я все это замечала, но не умела понять почему.

С обидами мама летела к прадеду. Белый как лунь прадед прожил долгую жизнь, пережив четырех императоров, и умер

уже после Второй мировой войны, в царствование деспотичного грузина, достигнув почти ста лет, в напрочь советские времена.

Миротворческое правление Александра Третьего позволило процветать народничеству, и время пришлось на юные годы пращура. Подцепив в столицах вирус зачаточного, но уже входящего в моду «хождения в народ», молодой дворянин получил несколько лет ссылки в Троицко-Заозерную слободу Туруханской епархии. Старинная слобода стояла в дремучей тайге и славилась с допотопных времен слюдой, которую добывали для храмов Москвы и Тобольска. Незадолго до его прибытия в эти места здесь открыли еще и железные рудники. И первые каторжане ручейком потекли в богатый нетронутый край.

Ссылка стала судьбой. Император, отославший беспечного народовольца подальше от столицы – отрезвиться и попутно окунуться в жизнь того самого народа, который юноша жаждал просветить, – тем самым спас его и наш род от клейма цареубийцы и террориста. Но главное – не прервется наш род. Цареубийц казнили повешением, как и случится с братом Ильича, постыдно и без присутствия того народа, которому они, как казалось, хотели служить. Каково будет их служение, мы узнаем позднее, когда Ильич двинет «другим путем». А его клич подхватят те самые народники, похерив свои идеалы, пустившись в недетские игры типа «охоты на царя» и в конце царских времен опустившись до гнилого беспредела «грабь награбленное» и прочих материальных, но абсолютно бездуховных ценностей.

В советское время ходил анекдот про Ленина: брата казнили, а как отомстил...

Ссылка сделала из прадеда философа. Отбыв положенный срок, он не вернулся на родину, а навсегда остался учительствовать в сибирской слободе. Здесь он пережил великий промышленный подъем, строительство Транссибирской магистрали, революцию, некрасивую сифилитичную смерть вождя, две войны и, наконец, изучив жизнь народа глубже некуда, с миром отошел к Богу.

Заозерная слобода, в имени которой навсегда отменили «Троицкое», получила статус села, к тому времени перенаселенного уже не только царскими, но и советскими ссыльно-каторжными гражданами.

Мама помнила прадеда седым, синеглазым и всегда с книгой. Сидя на скамье под высоким забором, он наблюдал за детворой и жизнью народа, судьба которого в молодости так беспокоила его. Прибегавших с жалобами детей он гладил по головам, жалел и подкармливал, отчего считался слегка не в себе. Факт, что выслан он был из Петербурга, где оказался в студенческие годы и нахватался идей о спасении народа, вляпался в нехорошую историю и отделался высылкой, был достоверный. Об этом хранили записи соответствующие службы, чем и помогли мне в раскопках своих корней.

В глухом месте, оторванном от других на десятки верст, проповедовать свободу мысли было некому. Некоторое время молодой прадед снимал угол у безмужней женщины, прижился, и она родила, среди прочих детей, мне не известных, Леонтия. Который и стал отцом моей бабушки. О женщине, пустившей питерского интеллигента к себе на жительство, а заодно продлившей корни нашего рода, известно немного – не сдерживаясь в чувствах, она одинаково гоняла веником детей, курей и собак, приговаривая: «Ах, жабы вы холеры...»

Я помню этот дом, похожий на старый терем, с высокой лестницей, на которую я отказалась подняться, и маленькую седую женщину, сидящую на самом верху. Она смотрела на меня зорким прищуренным взглядом и почему-то кивала головой. Шли взрослые разговоры о чьих-то похоронах и, поскольку все редко виделись, о том, кто как вырос и на кого стал похож. Став центром внимания, я закатила истерику, вцепилась в маму, и мы вернулись домой. Кто была эта женщина на крыльце? Кого мы так и не проводили в последний путь? Нет уже никого, кто мог бы ответить.

К вечеру пришлось вызвать «скорую». Мама просила ввести обезболивающее. Ничего этого в доме не оказалось. Я растерялась.

– А как она без лекарств все это время?

Я оглянулась на брата, на Деда, на Люсю, младшую мамину сестру. Так случалось, что та всегда летела на беду. И не только несла ее уже своим появлением в чьей бы то ни было жизни, но и непременно творила ее, часто неожиданным и изощренным способом. Люсю побаивались и родова, и знакомые, и друзья, которых она заводила всегда походя и с определенной целью. Не умея прощать ни самой случайной обиды, ни краем уха словленной сплетни, она со страстью странницы таскала слухи со двора во двор, при этом не гнушалась написать письмо или позвонить.

– Пусть знают, как Люсю обижать! – строго говорила она. – Должна же быть в мире справедливость?

В паутине ее домыслов и правды часто запутывались даже самые здравомыслящие люди. Со временем, деформировавшим надменную, брезгливую, ухоженную даму в нездоровую, приплакивающую и постанывающую женщину, Люся не умерила свой пыл, но свела границы интриг до узкого круга. Делясь бесконечными несчастьями, своими и чужими, она находила собеседниц на лавочках, словно приросших к ним навечно, с карканьем подрывающихся при виде детей с мячом или бесстыдно распавшихся прелестей юности. Не успев прожить полвека, она уже была отвергнута всеми. Сын от нее отрекся, невестка с внучкой скрылись, поменяв адрес, муж избавился, выведя такой хитроумный узор развода, что в Люсе до конца жила гордость за изобретательность его ума.

– Я всегда говорила, что Валера неглупый человек! Глупый просто не мог бы со мной жить. Но я обиделась...

И это был заочно вынесенный мужу приговор. С этого дня собственное существование ее больше не интересовало. Она припала к язвам чужих страданий. Как-то позвонила родственнику в годовщину смерти его жены и попросила позвать покойную к телефону...

С детства Люся металась: не то стать богатой, не то образованной.

– Чтобы все облезли от зависти, – объясняла она мне. Ее мечта сбылась. Она стала хозяйкой собственного завода и нажила много завистников. Название завода «Лидер» оказалось аббревиатурой и означало «Люся и другие ее работники».

По мелочам Люсю развлекали скандалы, в которых она возвращала свои подарки. Подносились они в порыве искренней, невиданной щедрости, действительно от всей души, часто дорогие, но приходило время обиды – и все требовалось вернуть назад. Люся входила в квартиры, где покоились ее дары, с дикой свободой судебного исполнителя срывала шторы, сдираала драгоценности, ломала картины, била сервизы и истерила, если вещи оказывались передаренными или утраченными. Частотой повторения спектакли утомляли даже соседей. Анонсы и прогнозы были бессмысленны. Свою непредсказуемость в этом плане Люся долгое время считала изюминкой своей женской души. Пока муж не ушел от нее безвозвратно. Иллюзии насчет изюминки растаяли, хватки с годами поубавилось, подарки с наступившей бедностью иссякли. Но Люся осталась собой. Я помнила об этом. И поэтому, когда она позвонила от мамы, а мама не могла говорить, одним своим голосом она вырвала меня из всего сразу – из всех невозможностей, со всем нутром, как это она умела, окатив душу ощущением опасности. Люся была рядом с мамой. Нужно было спешить.

В знакомой деревенской церкви мы с Сашей заказали подорожную и через сутки уже покачивались в поезде самого дальнего следования.

Во всей Люсиной судьбе был некий изъян. Все знали, что рождение ее явилось результатом неудавшегося выкидыша. Бабушка Галина пыталась избавиться от пятого ребенка, тем более что старшая дочь, моя мама, должна была родить в то же время. Девочка оказалась цепкой и уже на пятый день своей

жизни стала теткой вместе с рождением Славки. Этот статус тетки навеки определил и ее манеру говорить приговаривая, и жалобные нотки, и приступы щедрости, и нескончаемые болезни, и воспаленную страсть к золоту, и вмешательство во все семейные дела с охватом дальнего родства, и сплетни. Она была просто жанровой литературной героиней. Тетушка Саркома – в первый же день окрестила ее Саша. Со временем история Люсиного рождения обросла мелкими подробностями. В ней появился шрамик на ее подбородке, вроде как оттуда, еще из матки, нечаянное клеймо материнского предательства, насилия над беззащитным плодом уже побледневшей родительской любви.

Не в той ли мыльной пене, замешанной материнской рукой и влитой в утробу, и запутался мелкий бес да прикипел к за рожденной душе? Не он ли, подрастая вместе с ней, вспенивал ей мозги, доводя до бешенства при самой незначительной случайности, подсказывал Люсе сюжеты интриг, сводил людей и горячил кровь мстью?

– У мамы нет лекарства? – я уставилась на брата.

– А я знаю? Они вдвоем тут химичат, Люся да Дед. Я-то чо? Я обернулась к Деду. Он устало отмахнулся:

– Она не хотела.

Я возмутилась:

– А причем здесь «она не хотела»?

Люся нехорошо дернулась и не персонально заявила:

– Не надо тут устраивать допросы.

Дед молча свернул свое одеяло, на котором спал под порогом маминой комнаты, пока не приехала я, перенес его на балкон и перестал со всеми разговаривать.

– Вон пошла? – я держала руку, будто сейчас собиралась прострелить дверь.

– А ты изменилась, Любаша.

– Было бы странно, если бы за двадцать лет этого не произошло.

Люся начала собирать вещи и по-старушечьи заблажила:

– Я тут ночами не сплю, ухаживаю, умываю...

Всю жизнь она играла две роли, то жертвы, то спасателя. Ни один сценарий мне сейчас не годился.

– Не причитай, – прервала я, – теперь этот подвиг я возьму на себя.

– Я завтра зайду? – робко прошептала она.

– Нет, встретимся в церкви, на отпевании.

Она кивнула, но потом не пришла. Уходила с узлами. Снова нашлись скатерти и картины, которые она когда-то дарила маме.

Дверь на балкон была открыта. Дед лежал, глядя в небо, и слушал наш разговор с Люсей.

– Выгнала? – спросил он и глубоко выдохнул.

Он был всегда насквозь родной. Роднее отца, роднее любого во всей родне, быстрее всех в работе, скорее любого в любом деле. Он жил, рвя душу, как последнюю рубаху, не споря, а горлая, и в детстве я боялась, что сейчас у него лопнет кожа от пупа до горла и сердце его вырвется и взлетит.

Он завоевал маму, получив ее вместе со всем «приданным», ни разу в жизни не пожалев об этом. Работал до спазмов в желудке, любил до отпада сердечных клапанов, пил до икоты.

Он каждый год отыскивал для мамы подснежники и никогда не шел – он всегда неся к ней с букетом цветов. Мама любила жарки, и пока был сезон, в нашем доме, не угасая, полыхало пламя его любви. Потом шли мелкие незабудки, тонконогие, ситцевые. Осенью приходило время последних листьев, и они стояли всю зиму, до первых подснежников. Как упитый дурманом, привороженный уже следом ее босоножки, ее смехом, даже ее равнодушием и отказом, Дед добивался мамы, сидя в детской беседке под нашим окном. Над ними смеялись: «Как пионеры, прям...» Красавец, молодец, в модном болоньевом плаще, моложе мамы на восемь лет, как могла с ним случиться такая оказия и продлиться всю его жизнь?

Он столкнулся с нами на остановке. Должен был ехать на смену, но из автобуса вышли мы, и я остановилась – на мне были новые красные носки, и я не могла ими налюбоваться. Он не уехал, а пошел следом за нами. Я только что научилась читать, поэтому громко выкрикивала все, что попадалось буженного на глаза.

– Мама, – резюмировала я, – тут кругом про нашего Славку написано – слава, слава, слава...

Он вошел за нами в подъезд и узнал, где мы живем. О том, что мама в разводе, он выяснил позже. А пока шел, все уже для себя решил. Маленькая насмешливая женщина с девочкой за руку были его, не чьи-то. Ни мужья, ни какие-нибудь обстоятельства, ничто, прилагаемое в нагрузку, не имело значения. Он явился на другой день и принес мне конфеты – десять сортов по сто граммов. Двери держали открытыми, никто никого не боялся. Я спокойно впустила его в квартиру и устроилась на диван сортировать карамель. Он сидел в кресле и ждал маму. Возмущению ее не было конца. Потом он пришел с арбузом, и уже спокойнее они разговаривали на кухне. Потом мы шли на карусели, он держал меня за руку, а мама шла позади и делала вид, что она не с нами. Они встречались.

Ранняя смерть бабушки, когда больные с войны почки наконец добились ее уставшее тело, открыла для Деда двери в нашу семью. Мама честно показала ему шесть пар спящих ног, которые могли стать бременем в его новой жизни.

– Справимся, – ответил он.

И он справился. Вырастил нас и маминых сестер, выдал их замуж, одарив соболями в прямом смысле слова и отыграв их свадьбы. Своей у него не случилось. Как и детей. На этой теме в самом начале мама честно поставила крест. Она все и всегда решала сама. Иногда обдумывала до конца, иногда полагалась на волю случая. Тема общих детей ни разу не поднималась. Его сердце навеки было отдано женщинам нашей семьи. По цепочке: мама, я, Сашенька...

Он родился в конце войны в небольшом сибирском спецпоселении, куда их кулацкую семью в тридцатые вывезли из Украины. Зажиточные куркули легко вписались в графу второй категории – «богатых кулаков и подкулачников». Лишенные всего имущества, включая метлы, чайники и бочки с мочеными помидорами, они двинули на высылку в холодные края. По мартовскому ледку их подвезли к краю леса, ссыпали в ложбинку между сопками, вкупе с несколькими односельчанами, и забыли.

Собственно, эти изгнанники и основали деревню. Работящие хохлы поставили теплые избы, обнесли их сосновым забором и зажили внутрисемейными дворами. Уляна Серафимовна, матушка Деда, была толковой в хозяйстве и в торговле. В ее жилах текла кровь поколений миргородских купцов. В день зачистки, услышав дикий вой в начале улицы, она успела снять с себя серьги и кольца белого золота и сунуть в рабочие галоши. В них и отправилась в путь. Остальное из приданого, перины и подушки, продотрядовцы стащили на подводы, и пух летал над разоренным родовым гнездом... Драгоценности их выручили. Матушка оказалась негнибачей. Десяти лет Дед вышел работать в кузницу. Достаток в семье был общий. Двором, хозяйством, семьями подраставших сыновей, с невестками и детьми, управляла мать. Никогда не слышавшая о таком устройстве общества, как матриархат, она стала твердой его устроительницей и крепко держала в маленьких кулачках весь клан. Через короткое время семейство окрепло и снова разбогатело, но раскулачивать его повторно никто не пришел. Рахубная Уляна Серафимовна, крепко наученная властью, теперь умела тщательно скрывать семейный наработанный достаток. Так и дожили, вполне безбедно, но трудясь с утра до ночи, до шестидесятых. И тут, по сибирским понятиям – недалеко, занялась стройка – ГРЭС, завод и химкомбинат.

А место, заселенное когда-то силой, теперь добровольно обихаживают поклонники здорового образа жизни. Природа сберегла для них свое первозданное лоно. По-прежнему зеленеет лес, полный дичи, и гремят ручьи, не замерзающие даже зимой.

Молодые люди селятся снова гуртами, с новой философией на старой закваске, и поднимают огороды вручную, как в старину.

Я видела ее, невысокую старуху, с красивым властным лицом, огненными глазами и мягким южным говором, только один раз. Дед взял меня с собой и, видимо, пришел сказать, что уходит из-под ее надежного крыла в нашу семью. Мы стояли в пороге ее новой квартиры на городской набережной, только-только отстроенной, с круглыми фонарями и изогнутыми скамейками, по которой вечерами взрослые совершали променады, а дети бегали купаться на реку. Но потом я обходила этот дом десятой дорогой.

– Прокляну! – пригрозила она так, что я спряталась за Деда. – Прокляну, Ванька! Нашел себе хомут на шею... Шесть детей... Если уйдешь к ней, забудь ко мне дорогу...

– Проклинай! Уже забыл! – Дед махнул рукой, подхватил меня на руки и, пропуская ступеньки, слетел со второго этажа. Мы завернули в тир, и он стал учить меня стрелять. Потом мы шли по аллее с недавно высаженными деревцами, ели мороженое, а из динамиков гремела музыка. Дед был веселый, как сбежавший с уроков школьник, а я гордилась им, что этой женщины он не боится. Больше они не виделись. В августе того же лета он увез нас из города навсегда. Впереди были Крайний Север, БАМ, КАТЭК... Дед был спецом высокого класса, с личным клеймом сварщика. Его знали в лицо не только все местные начальники, но и министры советской промышленности. В любом месте, где бы он ни появлялся, становился всегда знаменитостью. Он мог приварить и граненый стакан к металлической ручке рабочего шкафчика, и стрелу гигантского крана. Его справками на изобретения можно было оклеить, как обоями, любую контору в три этажа. Чем он неоднократно угрожал, когда что-то требовалось добыть через профком. Договариваться он не умел. Чины игнорировал. И когда как-то на трассе заподозрили брак, Дед поспорил с министром на ящик коньяка, что брака не установят. Орал так, что трепетала грэсовская труба, чей дым долетал до Швейцарии. Министр вчистую проиграл и честно выставился. Гуляли три дня...

Все счастливое пришло ко мне через него. Станным образом мама всегда оставалась в тени, позволяя ему меня баловать. Она знала, его никто не смог бы сдержать в любви...

Я ходила в музыкальную школу и мечтала о своем пианино. Он добыл его в единственном на нашем участке БАМа магазине, взяв кредит, и посмеиваясь выслушивал мамины доводы:

– Она бросит свою музыкалку через полгода, а ты будешь еще выплачивать!

Я не бросила. Но каждый праздник, когда у нас собирались гости, мне приходилось откладывать книжку и идти к пианино. Нестройно, но весело народ пел песни под мой нестройный веселый аккомпанемент. Подвыпивший Дед подначивал:

– Любашка, ты на педаль жми, на педаль!..

Мама гордилась мной втайне, всегда ожидая большего. А Дед неприкрыто хвастался. Он всегда мной хвастался – моей длинной косой, моими «пятерками», и я во всем была для него лучшей. Во всех правдах-неправдах он брал мою сторону, не разбирая деталей, не вникая в подробности. Все были неправы, и только я – права. А если и неправы, то все равно все дураки, одна я умная. Он был моя крепость, тыл и броня. И когда мне взбрело в голову бросить университет, а мама встала в порог – «Бери чемодан и обратно!», он поднялся:

– Я поеду с ней! И всем им бошки поотрываю, кто ее там обидел...

Угроза была нешуточной. Слетать в Подмоскovie и устроить на кафедре погром, это он мог. Легко. Пара прецедентов в школе были тому подтверждением. Я перевелась в иняз поближе к дому, и головы невинных в моем сумасбродстве людей остались целы.

Мотоцикл... Это была отдельная история. Тогда я впервые увидела, как человек может на глазах поседеть. Пока я училась ездить по грубо отсыпанной дороге, Дед бежал со мной рядом. Я визжала от счастья, а Дед смеялся от радости. Дорог на великой стройке по сути не было. Бывало и так: сегодня они от-

сыпаны в одну сторону, а завтра – в другую. Так я вылетела на мотоцикле с насыпи на огромные бревна, сваленные на берегу Лены. Вовремя отпустила руль, мы разлетелись с транспортом в разные стороны. От горла до ступней я содрала кожу. Рубашка мгновенно прилипла к телу. Я крадучись вернулась во двор, где уже собирались любители волейбола. Дед устраивался на сарае, со свистком, чтобы судить. Я юркнула в его мастерскую... Он спустился с крыши, встал против меня и обомлел. Наутро я увидела гриву седых волос в его легкомысленных кудрях.

Мама то запрещала мне водить мотоцикл, то просила сгонять в магазин, где хорошо отоваривали бамовцев. Но жажда поругать осталась во мне навсегда. Как и советы Деда:

– Обочину не хватай, осевую между колес и пошла...

У каждого на Земле есть своя Джомолунгма. Для Деда это были мы. Однажды взяв свою высоту, он уже никогда не стремился покорять другие вершины.

Бабушка умерла, и мама взяла опеку над двумя сестрами. Мама, разведенка с двумя детьми, чтобы сестер не забрали в детдом, пошла на страшную, как я понимаю сейчас, жертву – нас с братом она сдала в интернат. Братья ее к тому моменту подросли и разъехались, а сестры остались дома. Они учились в обычной школе и приходили к обеду домой, они «дружили» и ходили на танцплощадки, они засиживались допоздна на кухне, пили чай, таскали куски рафинада и хлеб, лежа читали, смотрели телевизор, их некому было ругать. У них было настоящее домашнее счастье. Так думалось мне. Тогда я еще не умела ни толком завидовать, ни обижаться. Я скучала. Я тосковала, как щенок, пристроенный на время в хорошие руки, и подвывала в подушку, не наученная засыпать в одиночку и в дисциплинированной тишине. За слезами следовало стояние в туалете, с мертвецким холодом кафельной плитки, и я непременно засыпала, падала и больше ушибов боялась тычков воспитательницы: «Только попробуй, только скажи...» В память об этом на моей голове остались два маленьких белых шрама.

Интернат был освоенной образцово-показательной системой. Для меня, свободной от детсадовского плена, он оказался тюрьмой. И уже присмотр, который так утешал маму, работавшую в разные смены, стал надзором, а все мы, бесплатно одетые и обутое государством, обеспеченные им по госстандарту от карандаша до заплечного ранца, до зубной щетки, до полотенца, с запахом прачечной, начиная с одинаковых панталон и заканчивая зимними шапками, не имели права на свое.

Мы были маленькие монахи, вынужденные отречься от всякого личного имущества, только с нами совершалось не духовное подвижничество, а душевный разлад. Монастырским уставом служил распорядок дня, и следовали мы ему послушнически неукоснительно. Неведомые себе монашики, бывало, мы стояли положенное на коленях, бывало, оставались без ужина или без булочки, и булочка снилась потом, румяная, с корочкой и помадкой, облупившейся по краям. Каждый нес свое внутреннее послушание, только не ведал об этом. Нам нельзя было знать что-то отдельное каждому. Мы хором вышались борьбой за чистые руки и безвшивые головы. Мы хором болели чесоткой, страдали поносом и лечили сколиоз. В нас жило спаянное в соты коллективное сознание на базе коллективного метода воспитания. За метаморфозами сознательного в нас следили настоятели с указкой. Указка порой была похожа на хлыст.

Но все это стало реально осознанным много позднее.

Дед вытащил меня оттуда. Он вывел меня из-за интернатского забора, и я навсегда запомнила силу его руки. Я стала ребенком, которому отныне и навсегда было подарено настоящее детство, когда сбывались даже самые потаенные мечты. Даже когда я про мечту забывала, Дед помнил. Каждую. Любую. Все.

Он начал попивать, когда я уехала учиться – далеко от дома. Потом я выучилась, вернулась, и он воспрял. Драл горло, выбивая талон на стиральную машинку, когда появился внук, и надувал жилы, грозя разнести профком, когда родилась внучка.

Талоны, конечно, дали. Мои дети стали для Деда продолжением меня, а значит, самым главным в жизни.

И вот он лежал на балконе, заложив руки за голову, и смотрел на меня, как чужой:

– Чего ты тут выясняешь? Чего ты узнать хочешь?

– Маме выписали трамадол пятого числа, сегодня двадцатое. Две недели ей никто не давал обезболивающего. Почему?

– Не знаю я ничего, Люсю вон, сестричку мамину, змею ва-шу, спрашивай. У нее все лекарства.

– Ты запомнил мамины стоны? Все запомнил? – сказала я. – Теперь ты будешь с этим жить! До конца своих дней, до последнего издоха, до рвоты, до смерти своей ты будешь с этим жить! Понял?..

В голове шел снег. Один знакомый художник как-то сказал живописную фразу: «У тебя в голове снег идет...» И вот снег шел, шел, засыпая дорожки в прошлое, заваливая сугробами пути назад, к тому, что было когда-то счастьем. Мама уходила, забирая счастье прошлого с собой.

На балкон вошла Саша:

– Иди за лекарствами, Дед. Там наркотики только близким родственникам по паспорту выдают. Самый близкий – ты...

Он поднялся, обнял ее. Длинные седые волосы свисали ниже плеч. Он не стриг их, потому что кто-то сказал ему, что если не стричься, то больной выздоровеет.

– Не реви, я тебя в обиду не дам, – шепнула Саша, – ты мне ребра сейчас сломаешь...

– Не сломаю, Пшено...

Детская кличка, прозвучавшая неожиданно, сняла дикое напряжение, искрившее разрядами уже целые сутки. Дед, не переобувшись, как был в тапочках, полетел с поручением Саши. Он снова готов был свернуть горы.

– Слышь, Любаш, – брат с тоской смотрел на синий водоем за городом, – а рыба-то сейчас клюеет...

– Так купи удочку да иди, – предложила я.

– Да дорогие они здесь, епта...

– Ну... не дороже жизни.

Славка собрался в пять минут. Саша читала в маминой комнате, сейчас было время ее дежурства. Мама летала в заоблачных высях, и Саша держала карандаш под рукой. До сих пор я не готова выдать все то, что мама рассказывала нам сразу по возвращении – о параллельных мирах и всей запредельной метафизике. Каждый раз она огорчалась, что все еще тут. Шутила:

– Что у них – там, в приемной нельзя подождать?

Под занавес жизни ей дана была Божья милость не бояться смерти, а принять ее «непостыдную» – в окружении близких, причастившись, в горячей готовности к пути. У мамы вышло с юмором и немножко нетерпеливо.

Я включила стиральную машину, и ее тихий мерный звук в полной тишине квартиры оказался исполненным домашнего уюта. Он нравится мне до сих пор. Вещи иногда способны вносить больше покоя и разумности, чем близкие люди.

Она все время лежала лицом к окну, за которым всегда, даже ночью, небо оставалось по-северному светлым. Ей были видны верхушки сопки и как из-за них поднималось солнце, заливало неярким оранжевым светом и превращало их вечную зелень в густую синь.

Кто-то принес мандарины и высыпал их на подоконник.

– Голос дальних странствий, – улыбнулась мама, заметив подарок. Мы обе подумали об одном. – Но я-то свое уже откатала.

– Не факт, бабулечка, – заспорила Саша, – как минимум, еще один полет у тебя впереди. Приснишься потом? Расскажешь?..

Романтики в нас было хоть отбавляй. Но мама была практичным романтиком. Мы всегда приезжали на готовое место. Мы не скитались по углам, никто не мучился в поисках работы. И вот когда мы однажды летели на маленьком самолете в глубоко крайнесеверный район на Нижней Тунгуске, мама еще в небе сразу узнала наш дом.

– Смотрите, вот тот, с новой крышей, точно наш.

Конечно, для кого еще, кроме нас, перекрывать крышу? Но дом с новой крышей оказался действительно наш. Он стоял во втором ряду от реки, и даже с берега было видно, какой он свеженький, как гриб с толстой шляпкой после дождя.

По реке ходили баржи. Первую весеннюю встречали, как большой сельский праздник, а последнюю осеннюю провожали так, будто мы оставались здесь на зимовку без всякой связи с миром. Но связь, конечно, была. Все дружили с радистами. Все дружили с летчиками. Все дружили с тунгусами, потому что самый надежный зимний транспорт оставался всегда гужевой – олени. Вездеход не ценили так, как оленей, потому что машина в пургу не могла сама найти дорогу. Все вообще дружили со всеми.

Наш дом стоял в центре села, непосредственно на том перекрестке дорог, с которого начинается любое обживаемое место. С главной площади: церковь, управа, рынок и постоялый двор. К нашему времени все несколько изменилось, но здания сохранились. По углам располагались пекарня, почта, причал и наш дом. Мы первыми узнавали, когда сел почтовый самолет, когда и с каким грузом придет баржа и когда будет готов этот незабываемый, с одуряющим ароматом горячий хлеб! Буханки были огромные, пышущие таким жаром, что мы не могли нести их в руках. И мама сшила для хлеба специальную хлебную сумку. Она всегда пахла хлебом, сколько бы ее ни стирали. И хранила этот запах долго, даже спустя годы, когда мы вернулись на Большую землю.

И вот однажды баржа привезла мандарины. Они были ссыпаны навалом в ящики и весело выглядывали в щели между деревянными плашками. Невиданный для Севера цвет. Неслыханный аромат!

С баржи все покупали ящиками, мешками, коробками. В сенях нашего домика всю зиму мерзли большие фанерные коробки с морошкой, клюквой, пельменями и пряниками. Составленные друг на друга мешки с мукой пугали меня в темноте. В углу

стоял укутанный старой фуфайкой, но сильнее всех пахнувший большой бидон с керосином. В середине семидесятых мы жили при керосиновых лампах! Свет давали только по средам на два часа. Именно это неудобство заставило маму вернуться в цивилизацию. А я до сих пор люблю отдельной памятью и свет, и запах керосиновых ламп. Каким теплом они светились в зимних мерзлых окнах человеческого жилья! Их свет спасал жизни. На них выходили из пурги, из тайги, по ним ориентировались дикие по смелости подвыпившие летчики-асы.

И вот мандарины. Наше жилье мгновенно пропахло праздником. На подоконниках сушилась кожура. С ней заваривали чай, толкли в ступке для выпечки, ее добавляли даже в растворимый кофе. Гурманы с материка с особым мандариновым изыском готовили оленину и медвежатину. Славка и Дед плевались. А я, воображая, что могу разгадать тайну знака, если долго и вдумчиво на него смотреть, не могла отвести взгляд от китайских рисунков. Иероглифы. Почему не буквы? Ведь это проще.

– А так короче, – смеялся брат, – это же целое слово.

Слово. Клинопись. Шумеры. Люди писали рисунками. Люди рисовали слова. Это занимательнее и любопытнее, чем составлять из букв слова. Именно мандарины в китайских ящиках запали надолго в мою душу. Я решила стать переводчиком и выучить язык иероглифов.

Я родилась в седьмой лунный день, то есть сразу и однозначно филологом. Тайна слова буквально преследовала меня, даже если я хотела от этой игры отдохнуть. Но я всегда любила слова, мне нравились языки, я обожала слушать нерусскую речь и русскую, произносимую с акцентом. В нашем классе, когда мы вернулись в цивилизацию на очередную союзную стройку, были представители всех республик и автономных областей. Разноязыким, многоакцентным и никогда враждебным было наше общение.

– А как это будет по-грузински, по-белорусски, по-молдавски, по-украински, по-казахски, по-туркменски, по-литовски?..

Неродные слова казались смешными, забавными, но иногда наоборот – восточное слово звучало так гордо, так возвышенно, что в русском переводе бледнело.

Китайский язык стал мечтой. Это не было семейной тайной, и мама мне всячески помогала. Она изучала со мной немецкий язык по учебнику дома, потому что в школе не было учителя. Я торчала в сельской библиотеке под керосиновой лампой до самого закрытия, и мама отправляла брата встречать меня.

– А знаешь, – делилась я, – «слово» по-китайски значит «сын мысли».

История с китайским закончилась ничем. Окончив иняз, я было направила свои стопы в Иркутский институт имени Хо Ши Мина, но сначала должна была отработать три года по специальности. Таким был закон. Но через три года я была уже мамой, и китайский только изредка напоминал о себе. Самым удивительным образом. Пять месяцев я прожила по соседству с настоящим китайцем. Его звали Пи Шин. Потом появилась книга «Рисованные слова». Я даже переводила ее, а мой муж рисовал иероглифы. Но все это было в каком-то странном завуалированном виде. Китаец жил в России, и все называли его Володя. А книгу написал итальянец, но читала я ее на немецком. Никогда больше китайский иероглиф не появился в моей жизни в том первозданном виде детской мечты, как на ящиках с мандаринами.

Потом мандариновые сады на Кипре. Древний, как уста планеты, язык киприотов. Разноязычность туристов, многоакцентность английского. С балкона я смотрела на утреннее море. Ночью в открытую дверь я слышала его шум в темноте. И звук больших самолетов, прилетающих с материка. Сложился, наконец, какой-то очередной пазл в картине моей жизни.

Я закрываю клеточки в детском лото, в которое мы играем с внучкой.

– Мандарины?

– У меня!

– Самолеты?

- У меня!
- Край земли?
- У меня!
- Иероглиф?
- У меня, – отвечает кто-то.

Скорее всего, это именно та девочка, которая сидит у фанерного ящика, а в щели выглядывают мандарины, навсегда подписанные тайным знаком так и не разгаданного рисунка.

Дом, в котором девочка смотрела на дивные китайские письма, недавно снесло большим половодьем, вместе с пекарней, почтой и причалом. Все когда-то кончается. Исчезают дома. Исчерпываются отношения. Навсегда уходят родные и близкие...

- Может, ты чего-нибудь хочешь? – спрашиваю я. – Мандарин?
- Есть не буду, не хочу, чтобы из-под меня убирали. Какой смысл? Еда нужна, чтобы жить. А чем это пахнет?
- Кофе. Хочешь кофе?

Она неожиданно соглашается. Расстраивается, что заляпали красивую наволочку.

- Мама! Какая наволочка! О чем ты думаешь!
- О вас...

Она никогда не была практичной в том смысле, который обеспечивает нажитость добра и обеспечение в будущем, но эта жилка в ней все-таки была. Она понимала, что придут дни, когда начнут подъезжать родственники, им придется здесь жить, толкаться в ожидании похорон, и собирала деньги заранее. Теперь все мы питались за ее счет. Может, от этого еда была такой невкусной. Дед об этом не знал. Но сейчас, когда невестка бойко и толково распоряжалась на кухне, Деда раздражала то ли ее хозяйская подвижность, то ли вообще прибытие неблизкого родства. Дед не успел полюбить ни Зойку, ни ее родню. Полюбить так безоглядно, как это случилось с нами. И теперь, когда навсегда ушла мама, он смотрел на них, как на вовсе чужих людей.

– Ешь давай, не зыркай, – прикрикнула Зойка небрежно, по-семейному. Как здесь любили говорить – «по-простому». Но это была простота того разлива, что хуже воровства. Лучше бы она сматерилась.

– А повежливей? – грубо срезала ее Саша.

Зойка не поняла, о чем речь. «Не стой давай, иди давай, бегом давай...» Погонялки раздавались беззлобно, иногда безадресно, скорее по привычке, с придуманной строгостью. Покрикивание считалось в этой среде нормой и было чем-то вроде атмосферы, вне которой люди этой семьи терялись. Вежливый разговор их настораживал, «спасибы» и «извините» напрягали, мол, мы ж не чужие, мы ж родня, чего извиняться...

Теперь, когда маму унесли санитары, моя миссия как бы кончилась, и Зойка взяла хлопоты на себя. Из морозильника доставали и сортировали на обеденном столе смерзшиеся куски мяса...

– Слышь, Любаха, – позвал Славка, – я там это, в морге матери с шампунем заказал...

– Маме? Какой шампунь?

– Ну, там, типа, с шампунем мыть дороже... Так мы это, с шампунем заплатили. Чо без шампуня-то? Чо мы – не люди, что ли...

– Ну и правильно, – говорю, – что с шампунем. – И, наконец, тихо текут слезы. Соленые, утешные, липнут к щекам. Лекарство должно быть горьким. Слезы – солеными. Морг – морозильником. Брат – спокойным. Смерть достойной. У мамы – даже чуточку лихой.

– Не реви, – говорит брат, – оно ж, знаешь, рано или поздно...

Дед с отвращением взглянул на продукты и скрылся на лоджии. Короткий топчанчик, пристроенный к стене, оккупировали все курильщики, но только Дед мог сидеть там на солнце. А светило уже поднялось. Дед выдувал дым, сплевывая табак, покашливая, будто виноватый, даже самый виноватый в этом дне. Говорить было нечего. Я позвала Сашу, и мы пошли купить ритуальные шифоновые шарфы. В эту минуту мне показалось это самым важным – найти черные ленты на головы.

Обрядовая страсть во мне тянулась ниточкой от маминых пристрастий ко всему псевдодеревенскому, ярмарочному, рушниковому. Она могла штопать простыни из экономии, но не умела пройти мимо какого-нибудь полотенчика или разделочной доски в «народном стиле». Сколько в незамысловатой кустарщине было стиля или народности, дело второе. Оно было притягательно-радостным, расцветивая кухню, а в целом жизнь во все цвета радуги. Я перебирала мамины вещи и незаметно для себя отложила фартук в бабочках, полотенце в подсолнухах, салфетки в ромашках. Долго разглядывала знакомую кухню: все прежнее, самодельная Дедова мебель, из останков рижского гарнитура, купленного в те дни, когда мама познакомилась с Дедом. Те же петушиные хвосты, яблочки-вишенки, кувшины в незабудках и ни одной пустой, обойденной художником вещи. На полке таяла небесно-голубая гжель, в стакане торчала пара ложек сочной хохломы.

Я осторожно достала из шкафа старую фарфоровую тарелку. Она была немислимого солнечного цвета. По краю росли виноградники с белыми гроздьями и узорчатыми листьями, а ветки, декоративно скрученные в бараньи рога, вились золотой оторочкой. Эту тарелку, вещь необычной, теперь уже старинной, не конвейерной красоты, в бедные маргариновые времена в наш дом внесла бабушка, не ведая, как навсегда приворожит меня к ней. Что-то таили ее узоры и уводили меня в свои лабиринты. Я видела, как ветки образовывали сердце, вплетаясь сердечным клапаном в стволы, как выпукло лежали листья, некоторые свежо, другие – обвиснув от жары, как все в рисунке сливалось в оранжево-золотое. Я часами разглядывала блюдо и мечтала... «Вот когда вырастешь, заберешь тарелку себе», – сказала мне мама и запретила трогать.

– А потом она перейдет ко мне? – уточняет моя Саша, упаковывая тарелку в свитер. – Она ведь по женской линии передается?

– По женской линии у нас другое передается, – напоминаю я, что в нашем роду шесть поколений являет на свет девочек по четкой схеме: Скорпион – Рыбы – Скорпион...

– Попрошу без грубых намеков, – улыбается она.

Потом, как бы договорившись с собой, моя молодая «скорпиончик» согревает меня надеждой:

– Давай через годик, может, домик купим да я рожу. Зачем нарушать традиции, если они так прекрасны?

Тарелка и сейчас оказалась довольно тяжелой. Теперь таких не делают. Теперь все облегченное.

Дулевская красота хоть и была второго сорта, как сообщал фабричный штамп, выглядела как самая неповторимая штука, которая мне встречалась.

– 1957 год, – замечает Саша. – Тут номер какой-то, не то 68, не то 89.

– А у нас все так – смотря как повернуть.

– Зато всегда есть выбор, – смеется Саша.

Чудесная дулевская глазурь с позолотой не потерялась, не смылась за полвека. Мы размышляем, почему тарелку во второсортные отправили, и решаем, что, наверное, за пару соринок, попавших под глазурь.

Да, не ведал Терентий Кузнецов, заводя тонкое дело среди болот и лесов Кудыкинской волости, сколько детских фантазий и дивных снов родит его фарфор в сибирской девочке, за тысячи верст и спустя больше века. Но моя тарелочка выскочила в убогое время. Когда губили драгоценные традиции пятилетками и ударным трудом. В пятидесятые люди, еще помнившие кузнецовское дело, плача шли на преступление перед искусством – сминая великий ход фарфорового рождения до живорожденного выкидыша – в угоду надуманным срокам, мученическому ударничеству и ходящим по рукам плюшевым знаменам. Тогда вообще шли потоком только второй и третий сорта. Так что дело не в сориночках, знакомых мне с детства. А вот так вот обиняком, опосредованно, товарищ Хрущев отметился и в моей жиз-

ни. И если смотреть тарелке в лицо, то мне светит селеновая дулевская радость, а если повернуть задом – в цифрах «2 с – 57 г» проглядывает нечто преступное, кодовое, как с крестов ээка.

– Чо-то вода льется, – ворчит Славка, – чо льется-то, не пойму? Кто не выключил-то? Включили и не выключили. Чо за фигня?

– Так выключите, ёпта...

Вот Саша и заговорила на «их» языке. Девочка светлая, легкая, солнечная, пишущая аннотации к книгам. «Их» язык как будто служил пробойником в соседнее сознание, в мир, где всегда советовали: «А ты не впитывай, ты обтекай!» И тем самым действительно упрощали себе житье, не мучаясь ночами вшивыми интеллигентскими поисками правды, а насыщаясь вечерними ругательствами всего подряд: правительства, медицины, педагогики и дорожной милиции. Все эти сферы государства в той форме, в которой они вваливались в жизнь этих незорких и доверчивых людей, действительно заслуживали хулы и порицания. Но что в них было толку, кроме самих разговоров, выкриканных горлом, покрытых смачным матом и изжеванными до рвоты?

Саша перестала впитывать. Ее чуткая психика, настроенная с рождения на волну улыбки, почти в первый день обрела панцирь, а купированный скорпионий хвост сделал стойку – членистоногие бдят!

– Саша, – звонил ее друг, – почему ты такая бесхребетная? Надо же иметь хотя бы хорду...

Сашину чуткость, не восприятие, а проникание в чужую обиду и боль, не сострадание со стороны, а сопереживание он путал с вялым непотребствием и бесхарактерностью. Как раз характер в Саше был. Он был очевидный для взрослого опытного глаза, созревшего, выношенного чувства, не выстраданного болью, а открытого наблюдением и анализом. Но для такого опыта Сашин друг был беспомощно молод. Страсть, вскипавшая в нем и медом и смолой, едва различала, что в этой юной светловолосой женщине было силой, а что оставалось слабостью стре-

козиного детства. И что эту слабость она сама не хотела изживать из себя, предпочитая наивное ребячество недоверчивой проницательности. Я знала ее желание радоваться всем и всему и радовать других. Иногда мы захлебывались в ее щедром смехе, а она искренне подозревала себя в корысти. Ведь яростно расточая себя на радость другим, она ожидала такой же отдачи от всего остального мира. По большей части окружение отвечало ей тем же, но близкий человек, с которым она жила вместе больше года, утомлялся избыточностью ее ликующего потока.

– Нельзя жить всю жизнь с новогодней елкой, – взывал он ко мне.

В ее веселом источнике он имел невеликие потребности, и Сашин родник иногда иссыхал. Она бежала в семью.

Какое-то короткое время, в зародыше их знакомства, мы общались с ним.

– Я хочу ей только добра, – уверял он, – но надо подходить к этому избирательно...

Саша источала доброту не задумываясь. Даже в опечатках – «Я несусвет и радость людям»... Вроде бы оба хотели одного и того же, но в жизни их хотения плохо состыковывались, а стыкуясь, отталкивались. Эти оттолкновения подтачивали хрупкий солнечный мир Саши и со временем развалили его настолько, что ее улыбка, не сходявшая раньше с ее лица, стала такой редкостью, что хотелось плакать.

– Человек родился! Человек, обреченный на счастье! – кричала она в день совершеннолетия. Я верила, что так есть, и так будет, и по-другому быть с Сашей просто не может.

– Мир такой огромный. А я такая глупая... – скажет она через время, прожив с другом.

Это был странный красивый мальчик, с какой-то внутренней бедой внутри. Она жила в нем, крепко осев, покрывшись коркой до невидимости снаружи, но очевидная, например, мне. Беда мучила его, но он не мог без нее обходиться. Муки и страдания вросли в его суть настолько, что он, почти не задумываясь, вы-

бирал именно страдания и муки, и ничто другое. Саша пробовала его оставить. И тут же вся жизнь теряла для него смысл. Одна опустевшая чаша весов опрокидывала навзничь все, что имелось у него своего схваченного, сцепленного и вмещенного в себя. К черту летели работа, родители, друзья переставали быть ими, мир, сравнимый до этого хотя бы с простым сортирным словом, становился просто ничем.

Когда Саша сбегала домой, он приезжал ко мне. Говорил о чувствах, и чувства были больные, распарывающие нутро до истечения кровью, до онемения ног, до судорог в легких. Боль была знакомой и сладкой. Она не только мучила, она была родной. Все кинули, все оставили, а боль – нет. Своя, выношенная, не предавшая. Отодвинуть ее, вытеснить могла Саша, когда возвращалась, виноватая, маленькая, глупая и родная. И рана его, живущая не в анатомической, биохимической или молекулярной плоскости, рубцевалась в три дня близким дыханием, касанием тел, любовью клеток, виноватостью и прощением и походя всасывала в свои рубцы собственно любовь.

– Хочешь всю жизнь зализывать его раны? – как-то безжалостно спросила я. – Возвращайся к нему. Есть и такие семьи. По-своему счастливы, по-своему печальны. Но запомни, он никогда не выберет победу, он всегда выберет страдание.

– Ну почему ты так говоришь? – бросалась в защиту Саша.

– Его не надо защищать, – говорила я. – Он всегда будет выбирать страдание. Такой тип мальчиков. Соглашаются на то, что ближе лежит, и подниматься не надо. Лег, умер и ты – герой.

Наша поездка за пять тысяч верст оказалась для Саши в некотором смысле полезной и своевременной.

В городке было непривычно жарко для весны. С полей несло пыль, и от нее было некуда скрыться. Населенный пункт возводили на хлебных полях и бросили среди этих полей, недостроенный. Прилетевший с южных степей «хакас» задул теперь дня на три.

Мы долго выбираем напитки. Нас спасает ширинская вода. Там, откуда «хакас» несет пыль, посреди ровной степи стоят невысокие округлые горы. А в горной впадине лежит неохватное глазом овальное зеркало. Это озеро. В нем живая вода. Как слеза – чуть подсоленная и прозрачная. Не так давно вокруг были живы сосновые боры. К озеру тянулись длинные тенистые тропы, нога утопала в мягкой пахучей хвое. Теперь сосен нет. К озеру добираются на машинах. На просторах хозяйничают жара и «хакас». Ветер несет с собой запах жженой резины и бензина.

Мы сидим на горячей лавочке под магазином, ждем, пока нам оверложат черные шифоновые платки. Я курю. Саша следит за людьми – они все, без исключения, останавливают на нас взгляд, безошибочно угадывая в нас приезжих.

– Представляешь, сколько денег мог срубить рыбак, нашедший браслет Экзюпери?

– Не срубил? – Саша встряхивается. – А к чему это ты?

– Так... Немец, который его сбил, ас, сказал: «Если бы я знал, что это был Сент-Экзюпери...»

– Ну, Дантес знал, что это – Пушкин! Что изменилось?

– Ну, да. И Мартынов знал, что это – Лермонтов.

– А к чему мы все это?

– Да так. Жарко...

Глупо все это, и мы улыбаемся. С нас понемногу, между фраз, стекает усталость бессонных ночей. Нас оставляет напряжение бычьих предутренних сумерек. Все легче и острее подкатывает к горлу ком, но уже не давит на душу. Ангел, забравший маму, не проворонил петуха. Стояла такая сухая тишина, что было слышно, как ветер трогает его крылья. Он вырос у мамино окна, когда я вышла на лоджию. Ростом в три этажа, совсем близко, но доступный взору целиком, в непонятной проекции, во всей небесной силе и белизне.

– Идите все сюда! – крикнула я. – Идите, смотрите, чтобы потом не говорили, что я выдумщица и «писатель».

– Ёпта! – ахнул Славка и осел. – Ничо себе...

Всемером мы столпились на лоджии и смотрели на ангела. Крылатый небожитель позволил нам подивиться на себя минуты три. Мы охали, ахали, шептались, крестились и глядели, глядели, не отрываясь... Потом он не растаял, не исчез, не испарился, а как-то вобрался вовнутрь чего-то и – не стал.

Счастье, как и само диво, было таким безмерным, что за маму мне было скорее радостно, чем печально.

Все дни до отъезда на все лады мы будем рассказывать и пересказывать эту историю, не боясь, что нас примут за сумасшедших. Мы, свидетели чуда, слишком разные, близкие и неблизкие, верующие и неверы, маловеры и атеисты, крайне разные, чтобы собраться вместе и все это вообразить. Ангел – был.

Нина приехала к вечеру. Маленькая, вся в черном, как отличная эбеновая статуэтка, волосы строго убраны, глаза огромные, глубокие, как бывает после вчерашних слез.

– Мама твоя, она же нам как мамка была, Люба. И Люсю грудью выкормила. Знаешь об этом?

– Главное, чтобы Люся об этом помнила, – говорю я.

У Нины озабоченный вид. Она напоминает встревоженного галчонка.

– Мама что-то сказала?

– Да, – говорю, – сказала.

– Что?

– «Жизнь такая быстрая, а смерть такая долгая...»

– Как Иван? – спрашивает Нина про Деда.

– Никак. Лежит сутки на маминой кровати.

– Ясно, – спокойно отвечает она. – Теперь ни пить, ни жить не хочется. И папа наш был такой же, дедушка твой, Шурик...

– Мой дед Шурик любил мою бабушку до самой смерти. Это все, что я знаю, и мне достаточно, – обрываю я. Нина пожимает плечами...

Бабушка была ладно скроенная, с гордо откинутой головой не только от личного достоинства, но еще от длинной косы,

уложенной узлом. Волос в нашей породе от бабушки тяжелый, густой. Однажды встретив бабушку на путях, дед Шурик и накрутил себе на руку ее крепкую косу и бросил на рельсы: «Выйдешь за меня замуж?» – «Не выйду!» – «Выйдешь?» – «Не выйду!»... Скатились по насыпи из-под самых колес. Бабушка так и не сказала «да». И вышла за него замуж. Оба были совсем молодые, только-только по восемнадцать. Оба с характером, со страстями, неуступчивые, но спасала любовь. И пара оказалась счастливой...

Но потом началась война. Дед Шурик ушел в сорок первом и вернулся в сорок шестом. Оттрубил по полной в пехоте и молодой, горячий, удачливый возвратился с одной царапиной, и то не от пули. Камешек, выбитый выстрелом, проскочил по переносице и оставил на его лице «боевой» след. До конца жизни дед Шурик считал, что его сберегла фотокарточка жены. Как ладанка, намоленная его любовью, она спасла его в самых страшных боях. Однажды он ее потерял. Рассказывал мне, как ползал на брюхе и плакал после боя, молился, чтобы найти. Он знал, что иначе погибнет. Нашел. Никто бы ему не поверил – отыскать фотокарточку на комсомольский билет на вспаханной взрывами поляне... Но у события были свидетели.

Моя юная бабушка, уже мама с двумя детьми, надорвалась, но выстояла в своей тыловой войне. И когда они встретились через пять лет, прожив как десять, оказались уже совсем другими людьми. Война изменила их необратимо. И каждого завязала узлом на свой манер. А сладкие и беспечные годы, юные и потому уже только счастливые, которые помнят до самой глубокой старости, посмеиваются и щурят глаза, всматриваясь в ломкие, мутные фотографии, – все это объяснимо и естественно отнимет у них война. И этого они не простят. Ни судьбе, ни друг другу.

До войны дед Шурик окончил техникум и всю жизнь работал инженером-путейцем. Он был на серьезных, ответственных постах, и его пролетарская смешная фамилия навсегда вписана в

историю города, где после построят Сибволокло. Греха пьянства за дедом Шуриком не водилось. Но после войны пила вся страна. Всегда был повод, и он был серьезный – за победу, вождя, за выживших и погибших. Застолье в бараке было и праздником, и утешением, и просто обычным делом, то есть чем угодно, но не пороком. Часто пили за счастливое будущее. Но оно не пришло никогда. Ни в их комнату с накрахмаленными занавесками из подсиненной марли. Ни в коммуналку с большой печью, но уже с титаном и ванной. Ни в квартиру, которую они получили через двадцать лет.

– Сколько людей полегло, а ты выжил. Без одной царапины вернулся! Образованный, заслуги у тебя посмотри какие... – попрекали деда Шурика важные люди. Приходили из комитетов, парткомов, исполкомов.

– Есть у меня царапина от войны, – отшучивался дед Шурик и почесывал переносицу.

Выпивки переходили порой в загулы, и бабушка его прогнала. У нее тоже была своя война.

– Гордая лошадка, – посмеивался дед Шурик над бабушкой, сидя на крыльце в нашем доме на восемь квартир. Это был дом моего детства. Выстроенный из свежих бревен, дом в первое же лето потек смолой и потемнел до сказочной таинственности. Потом он стоял долгие годы таким крепким, терпким от смоляного духа монолитом, с тяжелыми деревянными лестницами и деревянными перилами, и все в доме было живым, из живого дерева, и стены, и окна, и широкие половицы. Летом в доме было всегда прохладно, а зимой тепло, пахло печью и пирогами. Пекли во всех квартирах каждый день не для праздника, а – прокормиться. Но этот сытный, счастливый домашний дух пирогов никогда не забыть и уже не унять. Иногда во сне он приходит ко мне по старой памяти. Я просыпаюсь, волнуясь, будто и бабушка, и мама, и дед Шурик – все живы.

За день до смерти мамы дом загорелся...

А дед Шурик, выгнанный из дома, ушел, заблудил, загулял,

жил у женщин, в путейских теплушках, терялся на месяцы. Когда возвращался, был нетрезвым, и никто не верил его словам и клятвам, все гнали, гнали, а он плакал, упав на ступеньки, и иногда оставался там ночевать. Являлись по чьему-то звонку парткомы и исполкомы, ругали и уводили его.

Однажды в такой его приход соседи сказали:

– Не ходи сюда. Умерла твоя Галя. Здесь другие люди живут. Дед Шурик сначала им не поверил.

Его искали женщины, с которыми он жил. Его разыскивала милиция, потому что он потерялся. Ему начисляли какие-то деньги по воинским заслугам, приглашали на ветеранские празднества, что-то еще...

Несколько раз он бывал у двери нашей новой квартиры. Я подтаскивала табуретку и смотрела в глазок. Дед сидел на ступеньках и все повторял:

– Я из-под вас говно убирал, а вы...

Дед Шурик плакал. Плакала я. Взрослые, запретившие мне открывать дверь, казались жестокими. И я убегала на улицу через окно. Мы сидели с дедом в гулком подъезде, и он рассказывал мне о войне, о любви, о царапине и фотокарточке...

В конце концов дед Шурик уехал на кладбище. Там он нашел бабушкину могилу и остался при ней. Кладбищенский сторож поначалу его гонял, а потом бросил это бесполезное дело и перестал заявлять властям о неправильном образе жизни советского человека, героя войны и труда. Возможно, сторожу надоело, возможно, он проникся болью чужой утраты, но ночами они подолгу беседовали. Так длилось три года. Потом сторож нашел его вдруг среди июльского лета. Стояла жара, неприличная для Сибири. Дед Шурик лежал, обняв могилу жены, крестом, распластав руки и уткнув лицо в землю.

Нам пришла телеграмма, и мама мне рассказала:

– Дед Шурик тебя Любой назвал.

– И что?

– Купал тебя, пяточки целовал, пеленки стирал. А как мамка

зашла, увидел ее в дверях и с ума сошел, опять все поехало... Бес какой-то в него вселялся – без нее работал, надеялся, что позовет, а увидит – как с горки съехал...

– Бабушку нашу любил?

– Любил, Люба, как дурак последний. И мама страдала, и он чудил. Придет ко мне, кается, просит, чтобы я маме его покаiania передала.

– А ты?

– Я-то передавала, – улыбается мама. – Да мамка... Мамка гордая у нас была, знаешь, голова вскинутая, норовистая, и вправду как лошадь, и слышать о нем не хотела.

Бабушка действительно родилась в год Лошади. Но тогда роскопов не знали. И слово такое не обитало среди людей. А дед Шурик ведал о бабушке что-то такое, чего я в детстве не поняла. Эта тихая тайна никак не давала мне покоя. По обещанию маме я раскопала начала своих кровей. Фамилия у бабушки редкая, следы в прошлое вывели чисто и не особенно трудно. Но это было самое увлекательное путешествие в моей жизни. Ничего удивительнее я не знаю, чем пройти путь к своим истокам, увидеть древо, в кроне которого сплелись ветви польских княжичей, украинских панов, шляхтичей и обрусевших псковских дворян. Меня восхищает кружево судеб, как через ссыльного прадеда наш род не прервался, а продолжился в далекой, красивой и сильной Сибири. Он частью вернулся к своим корням и в точке отсчета соединился с родом дерзких и непокорных украинских казаков. Красивое вышло дерево. Древо нашего рода, с первой датой – 1425. Официальная грамота, выданная нашим пращурам польским королем – на владение захваченных ими украинских земель. В одной части ствол разделяется – те, кто пошел на военную службу к российским царям и вписан в Особый реестр Ивана Грозного. На макушке древа – 2014, Уля, смелая, фантастическая девочка с бездонными синими глазами и ровными, ниточками, бровями. Бабушка, заточенная на родовые метки, была бы счастлива.

Расследование привело меня к известному выводу: в судьбах вообще нет случайностей и «странных» событий, а прошлое каким-то немыслимым образом, почти пророчески, уже сцеплено с будущим – заранее, за века. И никакие эпохальные вехи, правители-деспоты и цари-мироотворцы не в силах нарушить этот великий космический план.

Понимаю теперь, откуда бабушкина осанка, выше меры, дозволенной окружением, и честолубие, и непреклонность. Помню тонкую руку, красивые пальцы с синим кольцом, платье поплиновое, запах булочек, сухой окрик, негромкий, на дочек вскинутый. Меня и маму коснулась и опекала по жизни ее особенная любовь.

Одна фотокарточка сохранилась из детства – бабушка в темном платье в горошек, смеется. Скамейка деревянная, черная, как дом. Где-то там, за кадром – я. Бабушка наблюдает за мной в песочнице. Иногда подзывает, поднимает мне подбородок, вглядывается в лицо и поправляет косы. Такие же тяжелые, как у нее.

– Нашей породы, – довольно говорит она. – И бровки шнурочками, тоже наши.

Я обрежу тяжелые волосы, падающие до лодыжек и закрывающие меня всю. Бабушка этого не увидит. Но ее кровь, родовые отметины, которые были ей так важны при жизни, всплывут в моих детях и внучке. Иногда в их синих глазах мне остро откликается ее взгляд.

Маму отпевали в праздник Вознесения. Отец Роман радостно возвестил об этом и вначале поздравил всех нас. Народу пришло много, и правый придел был переполнен. Толпа стояла тесно, от гроба до выхода, и батюшка велел раскрыть двери. В храм ворвалось летнее полуденное солнце. Причет пел вдохновенно, голоса уходили в купола, где с распростертыми объятиями Господь встречал душу. К церкви подъехали два автобуса. Кто-то их заказал и оплатил. Кто-то неизвестный, из тех ста, что из храма шли до подъезда за гробом. Прощальный кортеж вытянулся вдоль улицы, и я услышала:

– Министра хоронят, что ли? Народу-то, народу...

От этих людей, любивших и живших со страстью, без расчета, гордившихся красотой и корнями рода, преданных и искренних, ничего не осталось значительного, воплощенного, важного для страны и народа. Они остались только в нас – глазами, бровями, осанкой. В нас, внуках, страсть и гордыня потускнели. В правнуках почти иссякли. Они уже не хотят душевных страстей и даже избегают их. Или, может, их страсти стали другие – работа, карьера, успех.

А я чувствую, как за мной стоят мои предки, их несть числа. И они держат меня, и они – мои корни, крепкие, вплетенные кровью и жилами в тела и души наши, святых и грешных. И я понимаю, почему и зачем пеку поминальные блины во Вселенскую родительскую субботу.

Накапливаются свидетельства о смерти. И с этим надо жить. Уже без всех них, на кого эти свидетельства выписаны.

– Любаш! – зовет Нина. – Пойдем?

На кухне она помогает готовить салаты. Режет красиво, быстро, легко. Мне нравится смотреть, как она готовит. У нее, как у бабушки, маленькие аккуратные и быстрые руки. Они сразу везде – моют, чистят, шинкуют и убирают стол.

– Ты мечтала о чем-нибудь таком... красивом, манящем? Научиться танцевать, уплыть на теплоходе в дальние страны?

Она останавливается и с недоумением смотрит на меня.

– Какие мечты? О чем ты? Замуж хотелось поскорее, чтобы свою семью иметь. С мечтами у нас – ты да Люся. Вечно летали в облаках...

Мне кажется несправедливо безрадостной ее жизнь – пахара, тянущего свой плуг непонятно куда, просто в поле, потому что оно стелется перед ней. Единственная работа, единственный мужчина, ни шагу в сторону от морали, устоев, правил. Она чище всех нас: ни измен, ни флиртов, ни разводов, ни вторых браков, ни выплеснутой обиды, ни высказанных разочарований.

Сильная? Или глухая? Взяла крест и поперла, пока не водрузила его над могилой мужа. И попробовал бы кто-то его отнять!

– Ты лучше скажи мне, почему женщинам пьяницы достаются? – неожиданно спрашивает она.

– Карма, наверное, – отвечаю.

– Фу, ерунда, – она отмахивается от меня, как от беса.

– А я верю, – говорю я, – и в Божий промысел, и в шаманские бубны, и в силу мысли...

– И вот к чему ты сейчас это все?

– А к тому, что все вы мечтали о чем? О любви. И вам всем ее отвалили даже сверх меры. Вы хотели вырваться из трудной жизни большой семьи – и бабушка, и мама, и ты... и чтобы вас любили. Безумно любили, страстно! Так мечтали? Вам все дали. Чем вы все недовольны, я не пойму?

– Ну а счастья-то, Люба, от этой любви, а? Куда с ней? Одни слезы. Мама моя настрадалась, твоя мама под конец жизни тоже...

– Для меня страсти и любовь вещи разные. Слабости человеческие и любовь как соотносятся? Любовью пытаются лечить, спасать, шантажировать... А она нечто вообще другое, кроме нее самой...

– «Любовь долготерпит, милосердствует... не мыслит зла»... – читает она наизусть.

– И зла не мыслили, – говорю я.

Все они – поколение борцов. И за счастье – особенно. Я для себя выяснила: если «за» нужно бороться, путь изначально неверен. Я встаю на тропу войны только «против».

– Счастье не баррикада, – говорю я, – оно не требует жертв и напора. Понимаешь, его не нужно как-то особенно строить, тем более за него сражаться. Счастью нужно просто идти навстречу. Ему открывают дверь и впускают. Все. Для счастья совсем не нужен подвиг, этим оно и прекрасно.

– А что нужно?

– Только распахнутая душа.

– И много ты таких счастливых нашла? – смеется Нина.

Сама она, удивительно прозорливая, что касается чужих судеб, свою испортила глупой принципиальностью. Женщины в нашем роду вообще плохо ладили с мужьями, если их интересы не совпадали. Нина искренне и глубоко, ни каплей разума, но всей душой прониклась православием, родив не совсем здорового сына. С целью его оздоровления была куплена дача. Сын исцелился и окреп, пошел телом в крупного, как медведь, отца, такой же спокойный и неразговорчивый. Нина, подвизавшись на дачный труд, продолжала копошиться все вечера в огороде, не заметив, как муж почти перебрался в гараж, а выходные проводил на рыбалке. Чтобы обратить его внимание на себя, она переехала в детскую комнату. Но муж все понял по-своему – перестал заходить в другие комнаты, не лез с вопросами, не докучал разговорами. Семья превратилась в местожительство, и жизни пошли параллельно. Она заметила, что он умирает, за два месяца до похорон. Новый подвижнический путь расстилался перед ней, и она его одолела. Простила, но любовь к ближнему духом не подняла.

Большую трехкомнатную квартиру, в которой исчезли все параллели, она отдала сыну с его молодой семьей, предприняв сложный тройной обмен, и въехала в однушку своей бывшей свекрови. Родства ни с кем, кроме мамы, не поддерживала, невестку однозначно и навсегда невзлюбила. Подробности удивили меня только тем, что я никого не помнила и, казалось, вообще никогда не знала.

– Бог все видит, Люба, – часто повторяет она.

– Почему это так всегда утешает? – не понимаю я. – Мне бы, например, не хотелось, чтобы и вправду – все. Я думаю, у Него есть заботы погромче моей звонкой судьбы.

– Да уж... – она снисходительна к кульбитам, которые я успела вытворить в своей жизни. То, что я могу быть счастлива, развывая христианские догмы, любить Бога без древнего страха, доверять высшим силам, но брать ответственность на себя, кажется ей неубедительной и даже опасной платформой, на которой возможно строить жизнь.

– Как Бог даст, – твердит она, большой труженик, положивший жизнь на алтарь, который мне смутно видится то в тихой церкви, то на суетной даче, то в бесечно устроенной кухне сына.

Мое незнание всего, что знали Нина и моя мама, спасает меня от того, чтобы увидеть людей другими. В моей жизни они останутся навсегда такими – только с одной стороны – они любили.

Нина красиво укладывает слоями салат и бросает вопрос, как всегда прямо:

– Я только не пойму, тут свадьба или поминки?

– А чо позориться-то, люди придут, – ворчит Славка.

И Зойка смущается:

– Чо скажут-то потом? Нельзя так. Надо, чтобы по-человечески...

И на мамин последний стол опрокидывается рог изобилия: икра, котлеты, тефтели, лапша, картошка, курица и почему-то салат «Мимоза». Праздничный. Славка вносит дорогие конфеты, печенье в обертках, мороженое и фрукты.

– Все-таки свадьба, – отвечаю я Нине и плохо скрываю раздражение. Но видит Бог, я креплюсь и не лезу с бревном за соринкой в глаз брата.

– Сначала намечались торжества, потом – поминки, потом решили совместить, – вставляет Саша. Скорпионье жало в подправленной цитате замечаю только я.

Второй ангел явился в день маминой смерти коротко после полудня. Зойка вздрогнула:

– А это к чему?

– Не знаю, – сказала я и соврала. Остальные полдня уговаривала Деда уехать с нами. Дед посмеивался, курил, сплевывая в окно.

– Мне так далеко не надо. Мне без нее одна дорога – на Береш.

За Берешем кладбище. У меня нет убедительных слов. Я только снова и снова предлагаю поехать вместе: с нами будет не так

тоскливо. Дед бросает окурок с восьмого этажа и возвращается на голую мамину кровать без матраса.

– Дед! – кричит Зойка из другой комнаты. – Можно мы вещи тут заберем?

Он, не оборачиваясь от стены, хрипит:

– Да хоть машину подгоняйте.

– Пропьет ведь все, – они будто оправдываются, и Зойка, и Слава, и даже соседи.

– Это его вещи. Пропьет, значит, пропьет. Имеет право, – говорю я.

Неважно, была ли машина.

Когда гроб с телом мамы подвезут к подъезду, Деда хватит удар. Через сорок дней его похоронят к ней.

Я так и останусь виноватой перед ним за свои жестокие слова: «Теперь ты будешь с этим жить!» Я ведь уеду, даже не извинившись перед ним. И потом, по телефону, тоже не сделаю этого. Он умрет один, в больнице. Его похоронят без меня.

Теперь я останусь с этим жить.

Дом бабушки в день похорон Деда сгорел полностью и навсегда. Мистическая фигура дома в истории нашей семьи всплыла в памяти после. Смерть Деда меня оглушила. Я шла по улице и рыдала в голос, как это делают дети – безудержно, когда от обиды и непонимания грозят не простить...

Нина сообщила об этом сухо, со спокойствием неопита, с уверенностью, что, наконец, под недремлющим оком все заслужили свое.

– Ты знаешь, что Иван мальчишкой со своего крещения сбежал? – спросила она.

– Сегодня у нас Иоанн Креститель? Вот он его и докрестит! – ответила я. – Завтра, кстати, православный день всех влюбленных.

– Надо же, как подгадал, – удивилась она.

В октябре, ко дню рождения мамы, могила Деда покрылась цветами. Странно и жутко было смотреть, как они проросли изнутри и тянулись с его пригорка на мамин холм. На выстуженной земле, на холодном ветру они выглядели нелепо. И напомнили Деда – на крепком упорном стебле, настырной породы, бесстрашные и обреченные на гибель, потому что холодно, пусто и все бессмысленно.

Цветы никто не высаживал. Дед снова сам их принес. В конце октября, из-под первого снега... Уже из-под земли. Уже оттуда. Нате вам, напоследок, всем, кто не верил в любовь!

Так и вижу его, как несется по полю, вскидывая ноги на кочках, высокий, сильный, с охапкой колосьев, льна, васильков, клевера и гвоздики. В сухом воздухе жарко пахнет пылью. От речки Куты влажный ветер тянет резкий запах спиленной сосны и смолы. Мама молодая, мне лет десять, и в мире нет смерти.

ПРОГУЛКА

В кроватке сидит маленькая Сашка и делает так: бу-бу-бу... И упирает лоб в лоб мягкого осла. Ослу двадцать, Сашке – год. Говорят, это моя дочь. Разное говорят. Я ничему не верю.

Баба Варя моет окна. Еще она моет двери, окна и полы. И чистит плитку, ванну и унитаз. Баба Варя моет и чистит. Все – сразу. Баба Варя – всесильный чистящий Цезарь. Цезарь-чистильщик.

Я – бабин Варин жилец. Баба Варя утверждает, что я здесь живу. Я здесь сплю, я здесь ем, я здесь читаю перед сном и

плачу за свет отдельно. Все, что угодно, я здесь делаю, только не живу. Прошу верить мне и не верить бабе Варе. А впрочем, он тоже не верит. Он объясняет:

– Отсюда, с улицы Партизана Железняк через проспект Кирова в переулок Лазо, потом по Кецховели...

Я внимаю, но иду по-своему. Отсебятиной иду. Ему отсебятина давит на затылок. На затылке плешина: отсебятина давит больно. А он считает, что у него оголенный мозг. Но я иду, а он идет за мной. И от этого ему тоже больно – от того, что за мной.

Мы пересекаем проспект Пастернака и попадаем в проулок Мандельштама. Проулок крошечный, а Пастернак большой. Пастернак проулка не видит, потому что с проспекта надо нырнуть во двор и вынырнуть – через Мандельштама – на Бальмонта...

– Не пори чушь! Ты уже взрослая, у тебя уже дети!

Он врет. Прошу ему не верить. (Он всегда врет, в нем нет ни капли отсебятины.) Детей у меня нет. Это они все выдумали. Он и она. От него можно отгородиться даже маленьким – в три дома, в три окна, в три забора, косых и смятых, – Мандельштамом. От нее – нет. У нее больной кишечник и в комнате всегда дурной запах. От этого Сашка делает ослу «бу-бу-бу», а я хожу по улице Бальмонта.

– Не выдумывай, это улица Сергея Лазо. Его сожгли в паровозной топке. В паровозной топке!..

– Когда хоронили Бальмонта, был сильный дождь. Дождь заливал могилу и гроб всплывал. Бальмонта никак не могли предать земле. Потом смогли.

– Сама выдумала?

– Нет. Это помнят очевидцы.

– Ты что, у его могилы стояла, когда гроб всплывал?

– Ты тоже не видел, как горел Лазо. А по этой улице в дождь плывут гробы. Каждый из них почел бы за счастье уйти в землю с телом Бальмонта.

– Ты – циник!

Я не циник. Но и это не улица Кецховели. Это – Гофф. Здесь

есть маленький магазинчик с рекламами чулок. Чулки завязаны в бантик и пахнут. Все это сделал Чарли, брат Мани. Ее родной брат. Маня – в Одессе, Чарли – в Америке. А магазинчик здесь. И чулки здесь, и бантики здесь. По сырым прилавкам бегают муравьи. Я собираю их в карманы, я набиваю их до полна... Он думает, что я сошла с ума. А я хочу, чтобы баба Варя вылечила радикулит. И может быть, это исправит ее кишечник. Каждый человек имеет право дышать нормальным воздухом.

Сашка делает ослу: бу-бу-бу... Я так не умею.

Он этого не понимает. Он понимает только то, что ясно. Он никогда не спутает обезьяну с человеком, хотя их друг от друга отделяют только две хромосомы. Обезьяне не хватало двух хромосомок, она получила дозу радиации и стала развиваться в человека...

– Прекрати!

Он считает, что я его оскорбляю. Что я приращиваю ему хвост и подвешиваю на одну ветку с обезьяной. Я не могу этого сделать. Чтобы приблизиться к обезьяне, надо, чтобы чего-то не доставало. Или еще чего-то, чтобы к человеку...

– Мне недостает радиации! Ха! Ха!

Он говорит: «Ха!» Он не смеется, а говорит. Он говорит ярко, сочно, захватывающе. Одесситы говорят смачно. И мы переходим от Гофф на – параллельно – улицу Бабея. Во дворике сидит очкастый интеллигент. У него дырочка во лбу. Без крови и рваных краев. Выстрел был до меня, но до – Бабея. Интеллигент протирает очки и рассказывает мне про Беню.

А он ничего не понимает. Ни про Беню, ни про Чарли. А Чарли тоже мог бы говорить смачно, если бы так и остался братом Мани. Но это Маня осталась ему сестрой, а брат стал Чарлем.

Но ему до Бени, как Бене до него! Между ними гулкий тоннель Сэлинджера. В нем нет эха – шагов или слов. Там только поле и каждый шаг – обрыв. Он боится пропасть – в пропасти. И переходит улицу не по правилам. Милиционер требует штраф и отрывает ему пуговицу от английского пальто. Он возмущается:

– Тоннели надо строить по-человечески!

Он не знает, что это самый человеческий в мире тоннель. Во всем мире и в его. Потому что под ногами нет земли. Под ними – пропасть. И я над ней – брошенная в полет чьими-то руками. А ему отрывают пуговицу от настоящего английского пальто.

– Прекрати!

Всего этого он не хочет. У него от моей отсебятины тик. От бабы Вари у него тика нет. А у меня есть. Когда маленькая Сашка делает плюшевому ослу: бу-бу-бу...

А он боится меня и тоннеля Сэлинджера:

– Дураков нет стоять и ловить! Стоять у пропасти и ловить – дураков нет! Пойми!

Но Сэлинджер обещал. Вернее, он ничего не обещал, но как будто бы. А он боится. Он и Архимеду никогда не доверит нужных размеров рычаг. А вдруг тот и вправду перевернет Землю? Что тогда? Тогда не станет его проспектов, улиц, тоннелей. Будут мои. Я построю их сама на перевернутой Земле и расскажу всем, как это просто делается. А он не верит ни мне, ни Сэлинджеру. Хотя у пропасти обязательно кто-то стоит. Ведь чьи-то же руки меня спасают!

– Уймись! Ты ходишь вверх ногами и вниз головой.

Моей голове и вправду тяжело. Зато легко ногам. Но по его улицам я ходить не умею. А так как платить нечем, мне отрывают пуговицы. И поэтому получается, что я как бы нагишом, а он как бы на все пуговицы. Но теперь и у него одной не хватает. За все нужно платить. Кровью. Ремарк сказал. Сказал и все. И даже улицы на него не осталось.

А он играет в настоящий покер. По всем правилам. Он берет шесть кубиков, закрывает игру первым и набирает больше всех очков. Можно играть на деньги. А можно на пуговицы.

Если оставить один кубик, а остальные выбросить, игра затянется на бесконечность.

06.11.1988

СКАЗЫВАЛА БАБКА СКАЗКУ...

«Я пойду за тобой за три моря и найду тебе вересковый мед. Хочешь? – Вересковый мед на дне моря. Море для меня – капля...»

Он брал ее лицо в ладони и целовал глаза.

– Расскажи дальше, – просил.

Девчонка, не открывая глаз, медленно поднимала брови и морщилась головой: нет.

– Расскажи до конца, – просил он снова.

Она шептала ему тихо:

– Не-а...

В соседней комнате варили кофе. Запах тянулся по коридору и вползал в комнатку, сбивая с толку: на улице стояла ночь.

– Вот всегда ты такая нехорошая...

– Зато ты у меня лучше всех...

В темноте хорошо было говорить шепотом. От легкого, шепотом, смеха становилось легко.

– Папка с мамкой придут, нададут тете по попке... – шептал он ей на ухо.

– Не-а...

– Что? Не придут?

– Не нададут, – смеялась она. Потом, вытянув руки, легко находила сигареты. Он удивлялся, а она опять смеялась:

– Привыкла. Терпеть свет от лампочки не могу.

– Как же ты будешь жить зимой?

Она тихо улыбалась:

– Ждать тебя.

Он находил ее руки, путаясь в шали и широких рукавах платья, перебирал губами пальчики и молчал.

Девчонка смешная, наивная. От нее легко уходить. В коридоре слышно, как в соседней комнате шепотом ругаются и шепотом плачут. «Как так можно жить? – ужасается он. – В темноте, полупшепотом, полувзглядом...»

И город спал. Казалось, который год. Отсюда нужно было бежать, не раздумывая. И он кинулся к вокзалу. Здесь неоплаченными багажами спешили за людьми их беды и боли. Но поезда увозили людей в нужных направлениях.

– Белье влажное? – спросил он проводницу.

Та сонно вздохнула:

– Мне бы твои проблемы.

– Тогда чай.

Проводница улыбнулась:

– Ты что, контуженный? Три часа ночи. – И сунула в руки непросохшее белье.

Вагон качало. В соседнем купе пили пиво и громко хохотали. Подсесть к ним и уехать вместе. На Восток или в Заполярье. Промерзнуть, продрогнуть, стать сильным, здоровым, красивым. Жениться в последний раз и завести кучу детей. Но постель уже пригрела. Да и что искать в чужом купе? И вообще, чего искать, когда он весь тут, на ладошке у женщины. Здоровая, сильная, крепкая. Она не смущается его появлениями и не страдает от его отсутствий. Она только всегда повторяет:

– Дом разваливается! Линолеум по углам отстал, стулья совсем расшатались, и вообще их осталось только два. И книжный стеллаж когда-нибудь завалится и кого-нибудь убьет. И он еще хочет, чтобы я завела ребенка! Я вижу его раз в месяц. Если девочка, еще ничего. А если сын? Что он будет делать? Вышивать платочки?

– Ты не умеешь вышивать. Завтра все сделаю, – обещает он.

Она кивает:

– Завтра ты уедешь.

– Нет. – Он уверен в себе и понимает, что говорит. – Я сегодня пришел сюда навсегда.

Женщина в последний раз за последний месяц верит ему и обещает родить мальчика. Маленького, розового, с пятточками, как у куклы-голыш.

«Я рожу тебе сына и умру за тебя трижды. Хочешь? – Сына родить поздно. Умереть легко, остаться страшно...»

Они сидят за столом. Пьют чай и едят омлет. С зеленым горошком.

– Может, сыр будешь? Совсем забыла, – отвечает она.

– Нет. Спасибо. – Он закуривает сигарету. – Дальше не помню.

– А что это?

Он пожимает плечами:

– Не знаю. Так...

Вечером будет шампанское, близкие, гости. Обмоют их согласие, или, как говорили бабки, помолвку. Будут советовать:

– Пора, пора уже...

– Давно бы надо...

– Хватит мотаться, искать, чего нету...

Он молча запротестует: «Я ищу себя!» А вслух согласится:

– Верно.

Потом, когда он уйдет, она закажет в магазине новые стулья и составит список продуктов на месяц. Включит в него шампанское, чтобы потом не покупать по дорогой цене в ресторане.

А он кидается вслед поезду с мужиками, что пили пиво. Пока бежит, думает, что же у них есть для него? Пиво на похмелье, собачьи шапки да ярость в глазах. Долго бежал – не опоздал – одумался. Встал – и забыл, что хотел.

«Я верну тебе волю. Хочешь?..» Путаная девочка лезла в душу. Цена девочке грош, если б не красива. Смешно с ней, легко, если не идти дальше порога. Хорошая у девочки привычка – свет не включать. Ничего не видишь, ничего не помнишь, ничего не оставляешь, уходя. Но в коленки не кинешься, обмороженную душу не покажешь – посмеется на ушко полупешотом. И все. Несмышленная девочка, славная. И все-таки. Что там в конце?

Его поезд едет в обратном направлении. Туда, куда бежал, уже не надо. Это тем мужикам туда надо. А он пиво терпеть не может, собачьи шапки сроду не носил, а в глазах такая тоска – солнца не видно.

Долго ехал. На перрон вышел – зима прошла. Цыганка прильнула, рассказала, что было, ничего не обещала, за правду рубль взяла. И пропала. Кинулся ловить, все спрашивают, что украла.

– Ничего не украла, но и ответа не дала.

Смеются:

– Ишь чего захотел. Легче ответа ветра в поле найти.

Поле не море. Перейдешь – девочка сказку расскажет, женщина сыто накормит. А цыганка по душе прошлась, как юбкой по полу... Вспомнил! «Я верну тебе волю и возьму твои боли. Хочешь?»

– Да!

Снова в комнатке темь. И слова полупшепотом, и любовь-полюявь.

– Доскажи, – просит.

Девочка волосы ерошит, сигаретка горит. «Ухожу от тебя, слышишь? Забираю боль, слышишь? Отпускаю тебя. Помни...»

В комнатке светло, будто свет горит. Все увидит, все запомнит, уйдет. Боль ей оставит, себе волю возьмет. Воля есть, сил много, хватило до порога. Там яблочко на блюдечке, как ясный день.

– Ну что, вспомнил? – Она и не здороваается, будто и не уходил. Вспомнил, рассказывает. Она омлет готовит. Говорит:

– А я конец знаю. Тебе не все сказали. «Ее нет, сына нет, я жив. Ее слышу – была, сына помню – он был. Где же я?»

Сидят за столом. Чай пьют. Омлет едят с зеленым горошком. Шампанское уже в холодильнике, а стулья купят потом. Линолеум вконец отклеится, а книжный стеллаж когда-нибудь завалится и конечно кого-нибудь убьет. И все это у нее на ладошке.

Он уверенно сидит за столом. Верит в себя. И, глядя женщине в глаза, даже в свои собственные слова:

– Все, слышишь? Пришел навсегда...

Июль, 1987 г.

ПОСЛЕДНЯЯ ЗИМА

Зима была трепетная и снежная в последний год уходящего века. Какой-нибудь сторонний наблюдатель видел вдруг сажающуюся в сани пару, барина в распахнутой шубе, барыню, говорящую несдержанно и нервно, и угловатые фонари сквозь снегопад и вьюгу, слышал сквозь ветер обрывки французских слов. А через двести лет вдруг прозвучит:

Кличут барыню Надеждой,*

Кличут барина Сергей.

Под французскою одеждой

Чадо торкается в ней.

Александром, Александром

Они сына назовут.

Запасайте талисманы,

Что его не упасут...

В четыре он хорошо говорил. Но только по-французски. А в девятнадцать написал самую русскую сказку. «Руслан и Людмила» потрясет офранцуженное общество не менее чем «Онегин». Возраст не повлияет на вечную молодость Пушкина, лишь придаст новые оттенки.

Шалости станут называть дерзостью, буйный африканский темперамент посчитают легкомыслием, за острый ум и язык сочтут бунтарем. Был ли он им? Прозванный в лице Обезьяны за непоседливость и дедовскую кровь, он покорит не одну женщину и будет покорен не одной.

Писать стихи не считалось достоинством, рифме учили в лицее и каждом приличном доме. Стихотворные остроты и комплименты в домашние журналы слетали с его губ, как яркие стрекозы. Непоседа и страшно замкнутый в детстве, плутоватый и сообразительный, он перечитал всю библиотеку отца тайком.

Любил его, пожалуй, только дядя. Маму, занятую маленьким Левушкой и долгами, он раздражал. А дядя, сам пописывавший стихи, оплатил его лицей.

Пушкин осенний, Пушкин весенний, Пушкин зимы и лета... Всевременной поэт. В нем горит восторженный, впечатлительный май, прячется обидчивый и ранимый апрель, и вдруг – заносчивый и непокорный, как январская метель, он заставил поколения влюбиться в осень! В эту болдинскую тоску, в тихую ссыльную печаль, поселившуюся в нем до конца дней. Но не утолима, как жажда, в нем будет жить великая любовь. Что не любил Пушкин? Ах, то не стоило его внимания и времени! Он жил спеша, как будто что-то не успевая сделать, будто слыша цокот времени, шуршание его полозьев по снегу, его слякотное шлепанье в ночи и четкое отстукивание секунд капли.

Когда, в какой миг судьба поставила свою печать? В какой момент решила? И вот уже неслышно, но настойчиво:

*В доме свечи оплывали,
На день стал короче век.
Тихо дворники сметали...
Для дуэли первый снег.
Для дуэли первый снег...*

Пушкин, не любивший свет. Чья-то выдумка, попытка поставить вольного гения на идеологический постамент. Он обо-жал свет. Это была его публика, его общество, его праздники, называемые балы, его музыка, его женщины и театр. Без света он не мог жить. Потому так и велика тоска в Болдине. Потому так грустен цветущий юг, потому так печальны дороги. Свет, полный сплетен и довольства, его развлекал. Обидные реплики гасли, напоровшись на его колкости, сплетни стихали при его появлении. Это свет не знал, что делать с Пушкиным. А он, летящий, скорый, неутомимый, только устал потом от него. Не светское общество и не царская Россия утомили гения. Он сам

иссяк, словно устав от быстрого бега, от обгонявших чувств и ощущений. От собственной скорости. Он ведь не знал, что уже обогнал и время, и век, и память.

Пушкин, полный моцартовской музыки и света, всегда влюбленный, как он хотел, чтобы любили его! Но гения любить не всем под силу. Выспренный и почтительный, ушедший век смотрел вслед Пушкину ревниво и недоверчиво. И все же не удержался: «Ай да Пушкин...»

Время смирило ценителей и ревнителей, поставив Пушкина во главе русской литературы и русского языка. Пушкина! Творящего с ударениями и рифмой черт знает что. Пушкина, смешанного в крови и чувствах, как его предки и потомки. Пушкина, понятного через двести лет так же, как два столетия вчера.

Мелкий, курчавый, вечно грызущий перо, пишущий первые шедевры на подоконнике в лицее, за что был часто выруган и строго наказан. Изящный и стремительный, впитавший законы и премудрости золотого века, всегда летящий на огонь: желтые окна, фонари театра, свет сцены. Люстры балного зала, болдинские свечи и солнце южных дней. Все, всё вошло и вместилось в его неумное сердце, оставив потомкам гадать, о чем он думал, когда писал...

Пушкин всегда писал о любви. Всегда. Хотя после Гомера, как считалось, писать уже не о чем. И влюбляясь, чувствовал, как в последний раз, как в последний день, как будто после уже не будет.

Тихая красавица, его Натали, судимая потомками порой за то, что не была особенна, семь лет после заупокойной панихиды по Пушкину ждала чего-то. Была ли она счастлива с гением в одном доме? Важно, что счастлив и вновь окрылен был он, внук Ганнибала, золотое дитя Арины Родионовны, друг декабристов, вечный двигатель души и слова.

Странно медленно он уходил. Будто пытаясь вспомнить, с кем забыл попрощаться, и удивляясь, что приходится, вот же, это делать. Подхваченный дуэлью, как последним танцем, на ле-

ту, с ходу, с бегу, как рыцарь, перепутавший эпохи, преклоняющий колена перед женщиной, потому что царит ее век, и он не может иначе... Пушкин, Пушкин... Это так на него похоже, отдать все недописанное, ненаписанное, недомысленное в обмен на выстрел. Иногда кажется, что если бы Дантес стрелял в воздух, то и это бы не спасло.

Сани, лошади, возница... Снег скрипел, желтели окна, зажигались фонари у театра, оплывала последняя пушкинская свеча.

Снег в подковы, снег в подошвы,

Бьются сорок сороков,

Шапки смахивая долу

Со дворян и мужиков...

Что он помнил последнее, что чувствовал, что слышал? Снег? Запах ее духов? Или бились какие-то строки, уже не успевающие долететь, пробиться, чтобы состояться?

Душная комната, чьи-то слезы, усталость, белая перчатка Вяземского. Маска. Картина. Все. И навсегда. И через двести лет, как тогда:

Вдоль по улице немецкой

Сани скорые летят,

Барин с барыней любезно

По-французски говорят...

Александром, Александром

Они сына назовут!

Запасайте талисманы...

1989 г.

* Стихи Петра Вегина.

ТРОЛЛЕЙБУС ХОДИТ ПО КОЛЬЦУ

– Нужно все вспомнить, моя хорошая.

– Не хочу.

– Нужно.

– Кому нужно, доктор?

– Тебе, моя хорошая.

– Чтобы все стало на свои места?

– Не совсем. Все и стояло на своих местах. Тебе нужно увидеть мир таким, каков он есть.

В одиночной палате мягкие стены и высокий чистый потолок. Решетка на окне прикрыта легкими занавесками. Я вспоминаю, где видела этот неясный цвет – желтый-нежелтый, слегка припыленный...

Я знаю, память – это слайды. Нужно дать пяточек света и, как кнопку эпидиаскопа, нащупав прошлое, щелкнуть – память выбросит эпизод.

Со слайдами проще: их можно пронумеровать и расставить в порядке очередности. Ничье прошлое нельзя упаковать в хронологические таблицы.

Этот доктор очень добрый. У него умные глаза и аппетитные щеки, похожие на два спелых яблока. Вчера он разрешил мне курить. И всякий раз, когда кто-нибудь приходит ко мне, спрашивает, стоит ли посетителя впускать. Доктор хочет, чтобы я выздоровела и видела мир таким, каков он есть.

– Жизнь такова, какова она есть, и больше никакова. – Доктор улыбается. Он не знает, что я уже где-то слышала эту фразу. Пырнов говорит, что она некрасива, потому что тавтология не может быть красивой. Пырнов ужасен. Я не хочу его видеть. И доктор всегда отвечает ему, что войти нельзя: я отдыхаю.

А мне кажется, что я отдыхаю уже давно. Всю жизнь. И живу давно. Не семнадцать, а сто семьдесят лет. Это как у Зиедониса: кто-то живет в часах, кто-то в секундах, другие в минутах. У меня – остановленное время. Я вяжу полосатые носки. Поляки

называют их «джурабками». Довяжу носок и вдену резиночку под самой коленкой. Это напоминает детство. Я люблю его. Люблю оранжевый песочник с кармашком-ягодкой, орехи в золотинке, арбуз, который принес отчим, его руку, когда он вел меня на карусели. И большой камень в луже за домом. Там можно долго стоять и смотреть, как от ветра по воде бегут легкие волночки, тогда кажется, что ты плывешь. На маленьком камушке по большому морю. Для Пырнова детство – остановленное время.

Мне хорошо в одиночной палате. Я курю, и можно, просунув руку в решетку, открыть окно, потом смотреть, как ветер надует занавески непонятного цвета... На светлом пятачке памяти вспыхивает слайд: Рафаэль, Сикстинская. Вот он, прикрытый туманом цвет. Я стою перед ней, уходящей по облакам. Совсем девочка, моложе меня. А за занавесом лица... Что они – против веры ее в людей? Хотя мне так же страшно за нее, шагнувшую в мир. Такой, каков он есть. Где-то подспудно – желание удержаться, остановить, не пустить...

Я тоже упала сюда, как с облаков. А тогда предотъездная суматоха не раздражала. За окном июль, тополя в пыли, брошенный двор. Команды «Лапоть» и «Калоша» благополучно развалились. Все разъезжаются. С провинциальной самонадеянностью собираюсь в пристольный город, где меня ждет университет. Шучу:

– Вы еще услышите треск, с которым я провалюсь на первом же экзамене. – Я выкаблучиваюсь. Если проваливаться, зачем ехать так далеко? Это можно сделать и в Иркутске. А я еду учиться, и у меня светлая голова, и вообще – навстречу розовому закату в синем теплом небе – хорошая примета.

С маленького, обжитого бичами вокзала меня провожали родственники и соседи. Жали руки, говорили:

– Ну, давай, давай...

Я смотрела им в глаза и знала, что оставляю их надолго, может – совсем. Оставляю деревянный город и пыльные палисадники, маму в сиреновом платье, отчима, крепкой загорелой

рукой прижавшего ее к себе. Мама не плачет и не целует меня на прощанье. Она серьезно жмет мне руку и кивает. Даже не говорит про то, чтобы стеречь чемодан и не тратить деньги, потому что говорить такие вещи мне – смешно.

Слайд моего города – пыльно-зеленый. На нем маленькая сиреневая точка, похожая на одинокий фонарь в снегопаде.

Редко и мало я говорю о маме. Больше об отчине, подобравшем нас на перепутье, когда мы остались вдвоем, а тот, третий, ушел. Отчим пришел в наш дом с парой рубашек и кулком конфет, взял мою руку в свою и повел на карусели. Он умел только работать и любить. Но именно тогда началось детство.

Я уезжала и чувствовала: оно тает во мне маленькой льдинкой – как от имени Альгильдас. Можно Альгис. Мама зовет его так. Это звучит нежно, но в этом нет льдинки.

Я протиснулась к поручням, потеряв кепку, просунула голову под чьими-то руками:

– Я люблю вас всех! Мама! Альгис! Ужасно люблю!.. – сказала что-то совсем не похожее на меня. Наверное, потому, что слайд в памяти уже отпечатан и, пронумерованный первым, начал отсчитывать мое новое время. Новое. И только мое.

Наташка Агафонова, завернувшись в тулуп, лежит на русской печке. Я греюсь на лавке о теплый беленый бок. Наташке скучно, и она рассказывает про своего папу-генерала, маму-маникюршу, сестру, которой все до фонаря. Я слушаю Наташку и прислушиваюсь к почке, которая ноет сразу и в спине, и в боку, и в животе. Мы с Наташкой сегодня филоним. А все будущие студенты собирают картошку на колхозных полях. Бабка Настя, у которой мы квартируем, ушла в соседнюю область молиться. Это четыре километра, значит, вечером можно долго не ложиться спать и некому ворчать:

– Девки! Свет-то гаситё!

Бабка Настя веселит меня своим волжским говором:

– Вставать-то будитё? Есть-то идитё?

Под музыку Наташкиного голоса я думаю про бабушку Настю, которая за иконой хранит чекушечку. Мы дурно влияем на бабушку Настю. Теперь она выражается так:

– Пойду поторчу со старухами.

Наташка рассказывает про Германию, где служит сейчас отец, про мать, которая без него не губит свою молодость. И безо всякого перехода добавляет:

– Скоро универ! Держись, Соломон! Теперь мне не семнадцать, и я не та дура. Ты, Ленка, проституткок когда-нибудь видела, живых, настоящих?

– Нет.

– Посмотри на меня, – говорит Наташка. Мне неловко оттого, что она легко произносит слова, которые я произносить не умею. – Но ты не переживай. Я ему еще мозги промою. Ты Соломона-то знаешь?

– Нет.

– Ай, господи, что ты знаешь, таежная провинция! – Наташка свешивается с печки. – Слушай, а у тебя отец кто?

– Сварщик.

– Кто? – хочется посмотреть, как Наташка вытаращивает свои красивые глазищи, но лень двигаться. – Так ты как в универ попала? – Похоже, Наташка действительно ошарашена.

– А я декану шубу подарила.

– Норковую?

– Нет.

– Соболью?

– Ага. Из соболиных лапок.

Наташка хохочет. Она это умеет. Мне снова хочется увидеть ее глаза, прикрытые в смехе торчащими ресницами. Она покрывает их невероятным слоем туши, от этого естественными в ее лице кажутся только зубы. Они похожи на ядрышки спелых орехов. Такие приносил Альгильдас и называл маму белочкой... Я закрываю глаза, чтобы не полилась под горло моя дикая, безудержная тоска. Наташка, если заметит, ухмыльнется. Для нее дом – это

отец. А у отца его нет. Если дом – это квартира, уточняет Наташка, тогда ее дом – это музей. Там есть все, даже поварешка из бамбука. Ее отец из Гвинеи привез. Поварешка коричневая, как кожа африканца, и легкая, как его бег. Я закрываю глаза и вижу африканца, бегущего по горячему песку, и белый замок под солнцем посреди белых песков...

Оказалось, Соломон – это крепкий невысокий мужичок с тяжелыми очками на еврейском носу. Он постоянно носит вельветовый, цвета шоколада костюм и каждый день меняет галстуки.

– Милая, это не Гейне! – Соломон рассыпался в громком здоровом смехе. – И все, что вы сейчас несете, это окошечко. Важно не то, что его последним видел кучер, а то, что он умер у ног богини. Богини красоты! А? Как вам это нравится?

Мне это не нравится.

– Кучер – это тоже важно. Так же, как и то, что Чехова в последний раз везли в вагоне для устриц.

Соломон откинул голову, потряхнув темной шевелюрой.

– Вы, милочка, страшный пессимист. Не портите мне настроение.

Да, настроение у Соломона сегодня на редкость. Потому что в его записной книжечке против Наташкиной фамилии стоит «плюс». Она дремлет за последним столом, Соломон видит только макушку ее обесцвеченных волос. Соломон бодр и свеж, как будто это не он подвез Наташку в пятом часу утра. Мне тоже хочется залечь, как Агафонова, и дремнуть с полчаса. Но семинары Соломона – это пока единственное чудо для меня в университете. Хоть и раздражает его дурацкое «милочка». Это напоминает мне, как Пырнов говорит:

– Ленка, ты до того наивный ребенок, с ума можно сойти!

– Вот и сходи на здоровье! – отвечаю я.

Пырнов обычно улыбается, Наташка заливается в ожидании новой перепалки, а Клавдия заглядывает в комнату и бросает свое извечное:

– Ой, погремущки!..

Клавдия – наша квартирная хозяйка. Она историк, но признается мне:

– Рассказываю на уроках о взбудораженной жизнью Сибири, а сама представляю занесенные снегом избы и медведей на дороге.

– Вы не совсем ошибаетесь, – отвечаю я, заплетая косу. – Утром в школу идешь, хоть один да встретится. Надоели!

– Серьезно? – Клавдия улыбается, сжав тонкие твердые губы.

– Вполне. Прицепится, говоришь ему: «Отстань!» – ни черта не понимает, лапу положит на плечо и шагает рядом. А то, бывает, на автобусах катаются. – Я доплетаю косу и гордо бросаю за спину, чувствуя ее восхищенный взгляд. Коса у меня что надо: до самых коленок, с руку толщиной. Но на этот раз Клавдия обижается:

– Ах, Лена, как ты научилась здесь дерзить. Нельзя так легко черстветь. Я понимаю, дом для тебя – это много...

– Дом для меня – это все! – обрываю я и беру в руки портфель, оставшийся еще от школы. Пырнов забирает его и уже на улице ввязывается в разговор.

– Слушай, чего ты таскаешь этот портфель? Купи себе «дипломат». Этим вызов обществу не сделаешь.

– И не собираюсь, – отвечаю, злясь, что Пырнов видит меня насквозь.

– Ты не собираешься, – соглашается он, – ты уже это делаешь.

Мне хочется завывать оттого, что здесь все против меня: и Клавдия, и Пырнов, и Наташка. Но Пырнову плакаться, что глухому забору. Я прыгаю в троллейбус другого маршрута и еду по кольцу. Хорошо отправляться в никуда – остановленное время, ничье. Особенно, если это взамен несбывшихся ожиданий. Хотя с чего я, собственно, взяла, что здесь все будет так, как мечталось? Кто мне сказал, что здесь не будет Наташки и непонятной мне любви Соломона к ней, не будет Пырнова с целью сделать из меня «нормального человека»?

Вот, доктор, Пырнов хочет то же, что и вы. Но только дела-

ет это иначе – от его обычных слов я тайком реву в подушку. Пырнов сильнее доктора, он кое-чего уже добился. Я научилась лгать. Самым невинным образом: все мои письма маме и Альгису – сплошная ложь. Нет ни восторгов, ни упоения учебой, ни жажды новых встреч и открытий, ни шагов к осуществлению тех планов, что выстраиваются ровной ленточкой на бумаге.

– Кому нужны твои слезы? – говорит Пырнов. И я начинаю ему верить. – И потом, это бесчестно, добавлять своих забот тому, у кого их и так хватает. Нужно уметь переживать по-взрослому. Это просто. Сама поймешь, когда разучишься переживать по-детски.

Я смотрю, как Соломон красиво читает что-то из Гейне, потряхивая копной молодых волос. Девчонки подозревают, что он их красит. Это смешно и неприятно. И ненавижу его в тот момент, когда он подходит ко мне в коридоре и, сдерживая улыбку, отводит в сторону.

– Милочка, передайте Агафоновой, что в три часа я жду ее возле университета. Да, как у вас с курсовой?

– Никак. – Мне противно чувствовать на плече его теплую руку. И непонятно, почему он говорит так, будто сдерживает улыбку.

– Я передам вам литературу через Агафонову.

– Спасибо, как-нибудь. – Сама слышу, что отвечаю грубо. И хочется сбросить с плеча его навязчивую руку.

– Вы, милочка, еще зарубежную литературу не сдавали. Не стоит упрямиться, иначе вы ее вообще не сдадите.

Я борюсь с желанием ехидно улыбнуться и отворачиваюсь к окну. Соломон подбадривающе хлопает меня по плечу.

– Коса у вас прелестная, девочка!

Я молчу, как истукан, и понимаю, что теперь ко всем моим ненавистям добавился еще и Соломон...

– Тебя твой старый товарищ спрашивал, – бросаю с порога Наташке. Наташка высовывает нос из-под пледа:

– Не старый товарищ, а стар-ший товарищ!

– Вставай, просил к трем подойти.

Наташка не двигается.

– Слышишь? – Я надеваю желтый махровый халат. Наташка высовывается и с интересом разглядывает меня. Сейчас она поднимется, накинёт мне на голову капюшон и чмокнет в нос:

– Ты как цыпленочек!

В самом деле, в этом халате я как птенчик. Аж противно. А дома он мне так нравился. Альгильдас подарил на 8 Марта. А маме принес розы, опустил в ванну, и они там плавали, такие красивые...

– Слушай, у тебя грудь – прелесть! – Наташка поднимается на локте. Я инстинктивно прикрываюсь халатом. – Ха. – Наташка весело подсакивает, почти нагишом подбегает к зеркалу. – Ну. А тут потрепанно-подержанный вид!

Наташкина откровенность роняет меня в пропасть. Я стараюсь не думать о том, что Соломон, как я сейчас, может видеть Наташку такой же. Она вообще почти не носит никакого белья. Вот и сейчас – натягивает джинсы, серый вязаный свитер. А я вспоминаю, как Альгис привез мне из командировки французский лифчик. Было так стыдно почему-то. Он передал мне его через маму.

– Что тебе принести? – Наташка красит ресницы. Это работы на час.

– Ничего.

– Ладно. Тогда конфет. Угу?

Я валюсь на кровать. Не хочу видеть, как она собирается к Соломону. Снова весь вечер я одна, если не явится Пырнов поучать, как из наивного ребенка становится нормальным человеком. Наташка придет, сунет в мой сонный нос мокрые цветы, разбудит, заставит пить чай с конфетами из нарядной коробки. Придется жевать шоколад и слушать, как Наташка издевается над «старшим товарищем». Не хочу!..

– Не хочу, доктор! Не хочу вспоминать!

– Успокойся, моя хорошая. Все нормально.

– Что нормально? Наташка – нормально? Пырнов – нормально?

– Да. И это тоже...

Ветер надувает занавески, по облакам босыми ногами идет Сикстинская, уносит с собой сына...

– А что, там, за занавесками, лучше? Чище?

– Надежнее, доктор.

– Но это не жизнь.

Славный, умный доктор. И щеки-яблоки вам так к лицу. И белый халат вам ужасно идет. И голос – «Сестра, помогите!» – так упоителен, что, проваливаясь словно в бездну, кажется, вот, наконец-то, уже не вернуться.

Пырнов торжествует – я делаю шаг на пути к умению переживать по-взрослому. И как маленького ребенка гладят по голове за правильный поступок, приговаривает:

– Так и нужно, Лен. Держать в себе зло, плакать в углу от обид, как котенок, кому это надо? Умей выплескивать все из себя. Жизнь того стоит.

– А чего она стоит еще, Пырнов? А? Ты же умница, ты же у нас философ! Ты же Ницше читал, ты же знаешь, чего стоят идеалы...

Пырнов подмигивает мне:

– Вот так! Через минуту станет легче. Только не нужно все валить в одну кучу: Ницше, идеалы... Я об обычном общем пироге, Лен. К нему надо пробираться спокойно, без истерик. Сейчас в цене...

– Люди в цене, Пырнов! Люди! Всегда в цене.

Пырнов с восторгом хлопает по столу:

– О! Хорошая фраза – «Люди всегда в цене». Умница. Только паузу не нужно делать. – Пырнов ободряюще улыбается. – В жизни нечего бояться, Ленка. Все грехи оплатятся в аду.

– Можно говорить про ад, когда уверен, что его нет.

– Ну почему же? Ад есть и в жизни. Одна мысль, что моя

мать уборщица – ад для меня. Но я всегда так и говорю: моя мать – уборщица!

– Ну и что? – Мне становится неловко, что моя мама инженер.

– О! Если бы действительно было «ну и что», ты бы сейчас этого не сказала. Правда, Леночка? – И Пырнов, довольный, громко хохочет. Клавдия открывает дверь:

– Ой, погремушки!

Пырнов улыбается:

– Ах, как вы правы, бабушка!

Клавдия поджимает губы на «бабушку» и уходит. Я лежу пластом на кровати, устала. В горле тоска, как будто снова стою на камушке и плыву в море. В кармашке оранжевого песочника лежат мелки. Сегодня первое июня, и мы с Альгисом идем на аллею Дружбы рисовать плакаты в защиту мирного детства. Я уже придумала: мы нарисуем пестрого попугайчика с гроздьё желтых бананов и к хвостику каждого – этикеточку, как на бутылочке с лекарством – короткий адрес. И отправятся бананы по всему свету... Альгис рисует попугайчика, я разукрашиваю хвост. Домой мы возвращаемся с большой пятнистой жирафой. Она мягкая и теплая. Я говорю Альгису, что если умру, то хочу быть жирафой. Альгис уверен, что я никогда не умру, потому что жирафа у нас уже есть.

Значит, я буду жить долго. И не умру от синильной кислоты из вишневых косточек. Значит, доктор прав, что через пару недель я снова увижу всех. И мир. Такой, каков он есть...

В палате становится сумрачно. Скоро медсестра принесет ужин. Потом придет Наташка и будет снова объяснять, как вывязывать пятку носка. А я буду таращиться на ее похудевший живот под серым свитером и искать в глазах с тяжелыми липкими ресницами «чертиков», от которых Соломон сходил с ума.

Сашка уже второй час торчит на ступеньках подъезда. Я перевожу латынь и подглядываю из-за толстого словаря за Наташкой. Она сидит за столом напротив меня и ошипывает цветы.

Я не выдерживаю:

– Наташка, нельзя так!

Она вскидывает пружинки ресниц:

– Ты что делаешь?

– Латынь перевожу.

– Вот и переводи! – И принимается за последний цветок.

– Жалко же, – говорю я.

– Очень?

Я киваю:

– Очень.

– Ну, иди пожалей! – Наташка дует на лепестки, и они медленно слетают на пол. Я с вызовом поднимаюсь и иду к двери.

– Сашка! – Он не оборачивается. – Заходи! Прилип, что ли?

– Да ладно! – Сашка говорит глухо, как в трубу. – Иди, сами разберемся.

Он разбираются уже три вечера. Клавдия, здороваясь, ядовито поджимает губы. Слово «погремушки» приклеилось к нам окончательно. Соответствующее отношение – тоже.

Наташка разбирается недолго. Когда она входит, я слышу Сашкин голос:

– Только не делай ничего, слышишь?

Наташка хлопает дверью и возвращается к цветам. Отрывает им ошипанные головки, с минуту сидит молча, глядя сквозь меня, потом поднимается и уже в прихожей бросает:

– Не теряй меня, я появлюсь, – и тихо закрывает за собой дверь.

Я кладу голову на толстую книгу с буквами мертвого языка и начинаю тихонько выть. Жалко себя в этой бестолково заваленной вещами комнате, с ошипанными цветами, жалко Наташку, которая снова, наверное, «пошла отдохнуть», жалко Клавдию, которая без мужа «дыры залатать не может». Я плачу и жду, когда вспыхнет на слайде сиреневая точка. Она теперь все реже является мне, все быстрее гаснет. Наверное, оттого, что мама часто болеет, а я редко пишу. И в письмах

все вру, а мама все чувствует. И Альгильдас чувствует. И все они всё про меня знают...

Пырнов приходит не в настроении:

– Чем занимаешься?

– Плачу! – я злюсь, что вечно жду его, а когда приходит, не хочу видеть.

Он не поучает и не спорит, а мрачно ворчит:

– Ты что, всерьез полагаешь, что все есть так, как оно выглядит?

– По крайней мере, мне бы этого хотелось.

– Ну, о желаниях ты напишешь в завещании.

Ненавижу. Шагу не ступить без его напутствий.

– Возьми хотя бы свою Наташку, – Пырнов сидит нога на ногу и раскачивает безразмерным башмаком. – Ты думаешь, ей хорошо, если она так легко и весело живет на твоих глазах? Да у нее нутро горит. А выглядит – у! Картинка! Потому что так необходимо. Кому нужны ее разлады и нелады с собой? Вот она и улыбается. А ты с ума сходишь, страдаешь за нее!

Я молчу. Мне нечего сказать, потому что я уже ни черта не понимаю, что происходит вокруг. Если вообще что-нибудь происходит.

– Простите, – в комнату входит Клавдия. – Еще раз простите, – повторяет она, сжав губы в улыбке. Пырнов уходит, ни с кем не прощаясь, а Клавдия объясняет мне, что есть достаточно причин предложить нам с Агафоновой съехать с квартиры...

Уже поздно. Я жду доктора. Он обязательно зайдет перед уходом домой и скажет, что я стала лучше выглядеть. И тогда я спрошу про поезд. Доктор входит, закрывает окно, и занавески успокаиваются.

– Свет включить? – спрашивает он.

– Не надо.

Я жду. Когда загорятся фонари и в угловом окне вспыхнет ложный свет: за той решеткой никто не живет.

– Вы любите поезд?

Доктор улыбается:

– Наверное, нет. Я каждый день трачу четыре часа на электричку. Впрочем, если ехать далеко, лежать и читать детективы...

Доктор улыбается, и я вижу, как он устал. Сейчас уткнуться бы маме под мышку и остро услышать ее запах. Я вызываю в памяти сиреневую точку – в глазах взрывается белое пятно: в нежилом окне загорается свет. Уличный.

– Идите, доктор, вас, наверное, дома ждут.

Доктор кивает:

– Да. Собака.

Интересно, если бы у меня была собака, я бы сейчас не была здесь? Хотя тогда я все равно села бы в тот шуршащий троллейбус и, не глядя за темное окно, поехала бы до самой дальней остановки. Туда, где гаражи, где живут старые собаки, которым дома места нет. Это было бы лучше, чем мусорные контейнеры за гостиницей. Шикарная гостиница, доктор. А мусорные ящики имеют тот же запах, что и на старых городских задворках. Я стояла между ними не дыша. И пока не стало светло, не услышала запаха, не почувствовала жирной грязи на пальцах... Я знаю, доктор, от этого не умирают. От этого только хочется жить. Они все были пьяные, все четверо пьяные, а бежали быстро. Я тоже – быстро. А на двери гостиницы – табличка. Красивая табличка. Наверное, потому, что там никогда мест нет. Иначе зачем на временные вещи столько стараний... Меня они потеряли, побежали в парк за гостиницей. Я стояла между мусорных контейнеров и прижималась лбом к холодному железу. У меня нет собаки, доктор.

– Ты выздоравливаешь. Умница. – Доктор бледный. И руки у него бледные. И голос. Хочется подарить ему билет в мягкий вагон дальнего следования...

Если у Наташки не покрашены ресницы, значит, она в состоянии, когда может плакать в течение целого дня. Вот и сейчас моргает по-детски выгоревшими ресницами, смотрит в окно, следит, как толстая тетка в синем халате сгребает старые листья.

– Сжигать будет? – Наташка спрашивает, а думает о другом. Я киваю. Хотя Наташка не оборачивается, этого достаточно. – Вот и все, Ленка. Листья старые жгут. Все уходит. – Смотрю Наташке в спину, жду главного. Будет что-то, как долгая сладкая боль. – У меня чемодан внизу, Лен. Я к отцу. Дай слово, отсюда выйдешь и будешь жить. Долго и счастливо.

Я по-дурацки улыбаюсь и тяну из пачки сигарету. В ответ не киваю, а мелко трясую головой.

– Только как это, Наташ? Долго – еще понятно. А вот счастливо – даже не знаю, как это делается.

– А это, Ленка, когда хочешь – учишься, хочешь – люби, хочешь – рожай! Я хочу видеть отца. Еду. Счастлива.

По ее похудевшим щекам бегут слезы. Она не вытирает их, когда плачет. И в этом похожа на свою мать. Та совсем недавно стояла передо мной вот так на улице, сбивая с толку прохожих и, не смущаясь, плакала.

– Говорите, где Наташа! Я заставлю вас это сделать. Деканат, милиция... Мне помогут. Ее нужно спасать, понимаете?

Я не понимала, зачем и от чего нужно спасать Агафонову. Было только ясно, что вот так плакать – не вытирая слез и не стесняясь прохожих – так нельзя.

– Это далеко, – зачем-то сказала я в ответ. И пришлось ехать. Долго – по яркому проспекту. Еще дальше – петлять в старых переулках, искать тот самый подъезд, что все чаще манил Наташку. Потом Наташкин стеклянный взгляд, голос ее мамы: «Леночка, она пойдет только с вами». Наташкино – вопреки взгляду – совершенно трезвое:

– Запомни, все они сволочи. Они всех жрут...

О ком говорила, не вспомнила и сама. Когда проснулась, был уже день. В этот день начиналась весна. Люди обретали новое рождение, а в Наташке начинала жить первая огромная потеря. Где-то внизу, под Наташкиными ногами, под чистым, пахнущим хлоркой полом, плакали младенцы. Двадцать лет назад в этом доме родилась она сама, а вчера по собственной воле запретила жить своему сыну.

– Наташа, девочка, образумься! Вспомни, я – жена офицера! Наташка пьяно орала:

– Ты – маникюрша! Почему ты об этом забыла? Ты не жена и не мать, ты – маникюрша!..

А мать была ласкова, как никогда:

– Это убьет твоего папу, понимаешь? Твой папа, с его положением – он этого не переживет! Ты об этом подумала?

Наташка об этом не думала. Она хотела родить и закрыться сыном от всего мира, за спину маленького мужчины спрятать свое путаное прошлое и неудавшееся сегодня. В расчеты не входили положение отца и чуткое участие мамы.

Наташка трезвела. И молодому врачу, знавшему офицера Агафонова с детства, с соседской площадки, она сказала уверенно, как будто все поняв:

– Сделай что-нибудь, Воробьев, ты же можешь...

– Он все равно не жилец, Наташенька, – успокоено щебетала мама. – Ты ведь его не берегла...

Женщинам в палате раздавали трехдневные справки. Они уходили, освободившись от ненужного. Наташку освободили от себя.

– Придите в себя! – сестричка худенькая, похожа на пионерку. Говорит отчетливо, как на уроке немецкого. Смотрит в окно и все врет. – Ваш мальчик был болен, все равно обречен. Понимаете? Вы сделали правильно, это был выход. Слышите? – Смотрит в окно и все врет. Наташку учить не надо. Она ложь терпеть не может и чувствует ее на расстоянии.

В ординаторской Воробьев выписал справку и передал привет отцу. И тоже смотрел в окно. Хотя луж не было и не было в них солнца, сегодня за окном жила весна. А вчера Воробьев спас честь генерала, покой его жены и будущее счастье Наташки Агафоновой. Друг детства, сосед по площадке. Чуть раньше Наташки родился в этом доме он сам.

Наташка вышла в больничный сад. Потом к дороге. Потом на такси. Прямо так – в халате и тапочках – в прихожую квартиры. И все-все-все до капельки подслушала. Если это можно так назвать.

Сестренка с мамой орали от души, по-семейному, до визга. Мать – до визга. Сестра – та больше грубила. Но это не важно. Под Наташкой качалась обувная полочка на стройных чешских ножках, ногтем Наташка ковыряла сочный кирпичик финских обоев, давила кнопку бра из лейпцигского магазина «Центрум». Здесь все напоминало об отце. И все же ничего от него в этом доме не было. В прихожей давно прижился запах чужого мужского одеколona...

И вот она счастлива. Она делает то, чего хочет, и свободна в своем желании. У нее там, в холле, чемодан. На него часов через пять приклеят дорожную этикетку, и Наташка сегодня уже будет купаться в счастье. Она с борта самолета сразу нырнет в него. Как в руки отца.

Я тоже хочу прыгнуть в счастье: с подножки поезда – в руки Альгиса, под мышку к маме, лицом в мокрые цветы, босыми – взрослыми – ногами с камушка – в чешуйчатую воду... Но от моих желаний до моих возможностей – пропасть. В нее надо шагнуть вот так спокойно, как Сикстинская, раскинув занавес и отпустив всем все грехи...

Сашка явился так, как будто я здесь только и делала, что ждала его. Зашел, закурил, сел на пол к стене:

– Ну, давай. Все как есть.

Глупый. «Все как есть». Что есть у него? Что есть у меня? У него Соломон украл любовь, Наташкина мама – его, Сашкиного сына. Остальное вместе с собой Наташка увезла. Я это так ему и сказала. Молча. Глядя прямо в глаза. Он оставил мне шесть тюльпанов и ушел. Один цветок я выбросила в окно. Из суеверия. А Сашка ушел. Теперь у него нет ступенек, где он может сидеть и ждать милости. Большой, красивый, сильный, а как судьба решается – все дело в юбке. Так говорил Пырнов. Он тоже не понимал. То есть не понимал, как так можно – вот так, как Сашка. Как Сашка – нельзя. Как Пырнов – тоже нельзя. Как можно? Можно, как Альгильдас: встретить на остановке женщину, посмотреть ей в глаза и спросить:

– Можно, я завтра к вам перееду?

А женщина спросит:

– Надолго?

А Альгис ответит:

– Насовсем.

Потом прийти и заставить всех жить. Не как Сашка – просить. Не как Пырнов – обязать. Как Альгис – подарить. Детство. Это мне. И себя. Это – маме.

Когда ему было трудно, я спросила:

– Альгис, откуда у тебя силы?

Альгис ответил:

– Я за глаза твоей мамы заложил душу.

В пять лет не знают, что такое заложить душу. Но все равно понятно – это хорошо и много.

Через три дня доктор принес мне справку: три подписи и две печати. Мне полагался еще завтрак и отпусалось время до обеда. С окон сняли занавески. Они упали на пол вместе с постельным бельем и стали обычного желтого цвета. Пахли пылью. Мадонна больше не спускалась с облаков. Остановилась, не сделав шаг. И стало ясно: решетка старая, за ней весна и серый, чисто выметенный двор. Три подписи и две печати благословляли меня на все четыре стороны – в мир. Такой, каков он есть. Не хуже и не лучше с тех пор, как я пыталась выбрать не его. Юбка на мне спускается по бедрам. В зеркале я узнаю только свою косу.

– Вот и все, с чем можно тебя поздравить! – Пырнова мало что меняет. – Удачно тебя выписали, проводишь меня. – Непонятно, спрашивает или утверждает. – Кстати, Ларик тебе квартиру нашел, хотя забота о близких ему не свойственна. У тебя сессия с завтрашнего дня. Я попросил – отложили.

– Зачем?

– Что? Сессию отложили?

– Нет. Квартиру зачем?

Пырнов поднимает мне пальчиком подбородок:

– У тебя есть что-то лучше?

– Да! Мне нравится этот дом! – Я киваю на окна за решетками и бью его по руке. Смотрю в желтые рысьи глаза.

– Плохо, когда хорошие друзья становятся хорошими знакомыми. – Пырнов солидно краток. А я плюю на свою беспомощность оттолкнуть себя от него. Я говорю:

– Да бросьте, молодой человек, приставать ко мне! Разве мы знакомы?

– Ты здорова? – Пырнов язвит. За меня ручаются три подписи и две печати! Я делаю почти забытый жест – я еду по кольцу. Я отбываю от обид и нерешений по замкнутому кругу. Усы троллейбуса тянут меня вместе с моей ношей и моей пустотой, не спрашивая о здоровье, в любом направлении. И мысль о том, что мой чемодан стоит в камере хранения уже сумасшедшие деньги, только веселит. И сизые дворы не угнетают, а ласкают тишиной. Да, мир такой, какой он есть, и я здорова.

– Девушка, может, все же привстанете? – Это мне.

– Может, вам еще полы отциклевать? Мы из тимуровской команды! – А это Ларик. – Почему мимо, лапусик?

Ларик вытаскивает меня из троллейбуса. Что такое «лапусик»? Чего ради он тащит меня в своем направлении? Почему я не возмущаюсь? Потому что Ларик не унижает. У него штаны в наклейках и заклепках, а у меня юбка на булавке, и ее все время видно. Но ему на эту разницу плевать. Поэтому я – лапусик, а он – Ларик.

Ларик вел меня непонятными закоулками к своему полудачному особнячку. Большой красивый дом и лестница на второй этаж. Его папа решает сложные проблемы силикатного завода с границей. Мама помогает папе общаться с границей на нужных языках. Они ежемесячно присылают Ларику открытки с видом на гору или озеро. У Ларика есть пачка заготовленных ответов. Тоже на открытках – Чебурашка дарит цветы крокодилу Гене. Тексты на них написаны давно. Сын заботливо отсыла-

ет их своим родителям раз в две недели. Но бывает и так, что они иногда даже видятся. Об этом можно судить по появлению аляповатых бутылочек на камине.

– А где Машка? – Я уверенно спрашиваю, потому что с порога ясно, что Машки в доме нет. Она обладает странным свойством: ничего не меняется с ее присутствием, и все выворачивается наизнанку, когда ее нет.

– Машка, Машенька, Маруся... – Ларик поднимает вверх брови, засовывает руки по локоть в карманы. – Илларион! Ты стал лгать! Неважно, что перестало тебя устраивать, мои бедра или мое настроение, но я тебя покидаю...

Я узнаю Машкину интонацию и хохочу. Так хорошо хохочу, что с непривычки больно рот.

Впервые в жизни я пью ликер. И ем лимоны прямо с кожурой. Потом Ларик дарит мне пакет и говорит «пока». Я остаюсь одна в огромной малахитовой гостиной. Провалившись с ногами в кресло, сплю.

На город наваливалась весна. Поздняя, нездоровая. Усталый, серый, прокопченный центр меня пугал. Я предпочитала видеть мир из окна дома, к которому случайно приткнулась второй раз. Роскошь меня отталкивает. Этот дом был теплым. Пырнов терпеть не может этого слова – «теплый». Он учил меня видеть все, что стоит за гранью его. Потому и повел тогда в «бардачок». Чтобы я знала, что в жизни есть и это.

– Да, мир прекрасен! Но надо знать, что в нем есть и это!

Пырнов показал мне это самое «и это». Какие-то бледные девочки с дурными глазами в белых балахонах из шифона снимали их и валились на пол в чьи-то руки. Самым нелепым во всем этом была моя школьная коса.

– Где ты взял такого ангелочка? – Непонятно, кому из нас Ларик сочувствовал. А я, выгнувшись вперед, чтобы не запачкать пальто, выполаскивала свои внутренности.

– Учужить, – сказал Пырнов. – Нельзя жизнь пробовать только с одного конца. Она до сих пор уверена, что в мире есть только совесть и любовь.

– К убеждениям приходят и через заблуждения. – Ларик курил.

– Чистоту обретают, пройдя пошлость и грязь. Даже чисто-плотных кошек обучают опрятности, тыча носом в дерьмо! – Пырнов был злой. Кажется, за мою слабость. Меня тошнило. Было все равно, с кем ставят меня на одну плаху, обучая жизни.

– Не переборщи, – сказал тогда Ларик. – Умные говорили, что зло порождает зло. И вообще, пусть она верит в свое. Тебе ведь в твое никто верить не мешает?

– А я и не позволю! – Пырнов застегнул мне пальто. Не глядя в глаза, поправил шапку, сшитую из жесткого оленьего меха. Детская шапочка, балабончики на ниточке. Ларик щелкнул по балабончику.

– Ну, пока! – Он улыбался. Не себе, не мне. Так. Он спускался в «бардачок», а мы отправлялись к троллейбусной остановке... Пырнов не понимал после, почему я не выносила свадебных зрелищ. А они вызывали во мне то, что долго еще помнила: темный зал, не то фикусы, не то пальмы, и парень двумя руками от горловины рвет на пьяной девчонке прозрачный шифон...

Потом я вернулась в это место. После ночи за мусорными контейнерами мне нечего было выбирать – я искала Ларика. Наивный доктор журил:

– Почему в деканат не пошла? Почему не к куратору? Почему в крайности, моя хорошая?

– Кому нужны мои слезы, доктор? А общежитие у нас только с третьего курса. Для тех, кто не спит. В смысле, ночами учит и лучше всех учится.

– А ты?

– Я оказалась средним студентом. И голова, говорят, занята не тем. Меня все время волновало, что город лысый. Это было хорошо видно из окна аудитории. А у нас дома из окна – сопки...

Но доктор был позже. А сначала Ларик. Засунув руки глубоко в карманы, он открыл рот:

– О! Лапусик! Ты сюда?

Я растерялась.

– Извините, вы не знаете...

– Мы? Пока ничего не знаем. – Он взял меня под руку и вывел из «бардачка» на свет. И дальше говорил серьезно:

– Что у тебя?

– Вы не можете мне помочь?

– Кто это «мы»?

Я поправилась:

– Ну, ты.

Я рассказывала про Клавдию, про ночь за контейнерами. Ларик слушал. Хотел закурить, но бросил. Я закончила, и он спросил:

– Все? Пока пойдем ко мне, потом прикинем.

Дом Ларика жил в удивительном согласии роскоши комнат с небрежностью хозяина. Вещи валялись там, где их нечаянно оставили, но не делали беспорядка. Казалось, всем и всему в этом доме было удобно.

– Устроит? – Это была, видимо, когда-то его детская.

– Конечно.

– А что ты шепотом разговариваешь?

Я смутилась.

– Извините. А сколько это будет стоить?

– Извиняем. Нисколько. – Он отдал мне ключ и ушел. Оставил, будто я была ему родня, и он мне, естественно, доверял. Книжки стеллажами, маленький шар светильника на столе, легкой пеной бежевое покрывало. Может, среди мусорных ящиков я чуть свихнулась, но не могла поверить, что все эти вещи действительно существуют на свете. И стащив с кресла плед, я уснула на полу.

А утром появилась Машка. Она сидела в кресле в мужской рубашке, выставив коленки.

– Ларик, это твоя?

– Нет, – Ларик был в кухне, и поэтому они орали на весь дом.

– А чья?

Ларик вышел, неся в руках тарелки, а на голове бутылку кефира.

– Не знаю, – и скосил глаза в мою сторону.

Я стояла, так и не спустившись с лестницы, и слушала, как обо мне говорят в третьем лице. Появилось ощущение собственного отсутствия. За столом Ларик решил прикинуть в смысле, куда меня деть. Но не успел. Машка стала капризничать, раскидывать тряпки по квартире, ворчать, что если уж Ларик заводит новую бабу, то пусть предупреждает ее, Машку, а не гаремничает. Еще бурчала, что если в доме сейчас так и не найдется сигарет, то она его, этот буржуйский отель, просто спалит, потому что его и так уже превратили в харчевню, стоило ей уехать...

Мне нравились ее острые коленки, торчащие из-под рубахи, рыжие ресницы и то, как она за собой таскала бутылку кефира и умудрялась отхлебывать из нее, не переставая говорить. Ларик смотрел на все это, жалко сморщив брови и затолкав руки в карманы. Машка подошла к нему совсем близко, уперлась макушкой в подбородок и рявкнула:

– Вынь руки из карманов! Сколько можно говорить об одном и том же! Штаны отвисли, как не знаю что!

Ларик взял в ладошки ее худенькую мордочку и строго сказал мне:

– Отвернись, детсад!..

Вечером Машка ставила мне на голову компресс, укутав в жаркую колючую кофту, совала в рот таблетки, поила чем-то теплым и мерзким. Я прислушивалась: Пырнов еще не ушел. Теперь он говорил обычно. А влетел в дом – с порога:

– Лена! Ты вообще умеешь что-нибудь умное делать?

Я захлопала глазами.

– Ты соображаешь, что такое поехать на ночь домой к Ларику? На твою наивность работает хоть один ограничитель или нет?! Ты же... блевала... там! А сюда спать покатила, да?! – Пырнов кричал громко, зло. Ларик стоял в дверях, руки в карманы. Когда Пырнов выложил все, что думает по поводу меня, Ларик расхохотался. Хлопнув Пырнова по плечу, сказал:

– Остынь. Она, конечно, славная. Но не моя. Это же, что ангелу крылья обломать. Я до нее даже вот так, – Ларик нажал мне мизинцем на нос, – при тебе первый раз дотрагиваюсь. Правда, лапусик?

Это была чистая правда.

– А вообще, что такого я сделала? – Я не могла успокоиться, хотя Машка все еще суежилась рядом.

– Ничего, – соглашалась она, – только Ларик таким, как ты, в одну ночь шерстку приглаживает.

Я опешила.

– Тогда зачем ты с ним?

– Люблю.

– А он?

Машка серьезно посмотрела мне в глаза:

– А ему нравятся мои коленки.

Ларик подарил мне репродукцию «Сикстинской». «Дрезденская галерея. Старые мастера», – прочла я на обороте. Я поставила ее к книгам, в угол, как икону. За окном шел поздний для первого весеннего дождь. Шлепал по крыше, совсем не касаясь окна. И это было странным – сухие окна в дождь. Я сидела на полу. Машка вошла тихо и села рядом. Появилась так естественно, что я даже не смогла удивиться.

– Ларик? – она кивнула в угол.

– Да.

– На тебя похожа.

Я промолчала. До нее мне было, как до небес.

– Я Пырнова встретила. Ты в универ зайти, там новости. – Машка говорит устало и ничего не спрашивает обо мне. Я чувствую к ней нежность. – Получи стипендию, – монотонно продолжает она, – и едь домой. Попаришься в чистой сибирской баньке и смоешь все, чем тебя здесь опыляли. Пырнов зверь, с ним не едь, он сделает на тебе диплом, а из тебя куклу на ниточках. Картинку можешь забрать, а Ларика оставь мне...

«Машка, зачем ты так?» – хотелось выть во весь голос. Троллейбус качало, к спине липли мокрые бока пассажиров, противно бежали за шиворот капельки с волос. Я ехала в универ за новостями и стипендией. В углу комнаты с сухими в дождь окнами шагала розовыми пальчиками по облакам Мадонна. Под пледом на полу сидя спала Машка. В камере хранения на мой чемодан повышалась цена. Все это сейчас казалось важным.

– Ленка! – Смешно, я почти забыла, как их всех зовут, моих одноклассников.

– Ты где была? – хохочут.

– Болела? – сочувствуют.

– Сдашь! – поддерживают.

Пырнов – звезда университета – уже почти в Москве. Сказали, слишком умный, таким здесь не место. Соломон в больнице – Агафонова допекла. Стипендию еще не дали – сегодня дадут. Эти новости я получаю до дверей университета. Покупаю мороженое, жду, пока все уйдут. Потом холодными и липкими пальцами пытаюсь охладить себе лоб, когда, открыв дверь, спотыкаюсь о радостно-вопросительную улыбку Соломона. Он легко и с интересом смотрит мне в глаза, закусив в уголке рта дужку очков. Я ничего не слышу вокруг. А он хохочет мне в лицо с огромного портрета! И все было бы нормально, не приди кому-то в голову мысль приколоть к портрету пихтовую ветку...

«Никогда нельзя жить временно... Нельзя жить временно...» Это Соломон мне сказал на мой отвлеченный взгляд в окно. Пауза повисла в аудитории. Я брякнула что-то вроде:

– А я и думаю, может, о вечном!

Соломон развеселился.

– Ну, о вечном вам рано еще думать, милочка! – И уже спокойно добавил: – Это прошлое – вечно, будущее – вечно. А настоящее – оно временно. Только сегодня. Только сейчас. Завтра оно станет прошлым. И останется. Все остальное, чего с вами не будет, вы не жили...

Ничего я тогда не поняла. А Соломон жил. Семь языков, два университета, полмира – собственными глазами. Наверное, война, потом сын. А мы хихикали, кафедра судачила, друзья намекали. А он любил, наши бредни выслушивал, бодро бегая по коридорам, ни от чего не зависим. И вот Соломона, со всей его сиюминутной жизнью, нет. Между прочим, его звали Яков Соломонович. Вот так. А весна препротивная. И улицы грязные. И его понесут над этими лужами, под этими тучами. Я сейчас реву, а через неделю буду есть мороженое. Но в прошлом останутся вот эти мои слезы...

– Привет! – Вот уж где действительно странно видеть Пырнова, так это в парке.

– Чего тебе?

– Ты неприветлива, потому что тебе неловко передо мной плакать. Считаю, что я твоих слез не вижу.

– Знаешь, Пырнов, я благодаря тебе поняла, что такое ненавидеть. Я тебя ненавижу.

Я шагаю по узкой парковой дорожке, говорю нежно. Таким голосом, наверное, объясняются в любви.

– Господи, Леночка, за что? Я тебе весть утешительную нес. Можно сказать, летел на раздутых парусах...

– А с чего это ты утешать меня взялся?

– Да так, случай подвернулся. Ты в универе еще не была? – Пырнов через плечо заглядывает мне в лицо. Цепкий желтый взгляд. Я смотрю под ноги. – Слушай, не по почившему ли учителю слезы сии? Леночка, делаю из минуса плюс: зарубежку принимает Самохин! Считаю, что твоя курсовая сдана на «хорошо». У Соломона, насколько я помню, она горела синим пламенем...

А вот теперь я смотрю ему в глаза:

– Гад ты, Пырнов! Дрянь! – Мне некуда спрятаться. Я обнимаю огромный старый ствол. Пырнова больше нет. Его давно не было. Только раньше, до смерти Соломона, это было непонятно. Он кончил жить, еще когда мальчиком осознал, что мать-убор-

щица – ад для него, что жизнь – это дебри, а расставленные в стороны локти – способ выйти на свет...

Скамейки мокрые, деревья голые. С запахом луж и мокрых веток мешается сигаретный. Нас уже ничто не разделяет и ничто не связывает. Мы курим, сидя на одной скамейке. Но Пырнов уже в прошлом. Я вижу только парк, мокрые сигареты, непонимающий пырновский взгляд.

– Помните, помните... Только то, что вы помните, только тогда вы жили... – Соломон говорил, точно помню, а вот когда и к чему – нет.

– Девочка моя, когда у меня родился сын, я поняла, что самый ненужный вопрос, который мы рано или поздно задаем себе, – это зачем люди живут. Я и сейчас не могу толково объяснить себе, зачем нужно рождаться и жить. Но знаю, что надо, что невысказано от этого отказаться, даже если ответа на это нет. Мне помог в этом мой собственный ребенок. Своим рождением он заявил: люди будут появляться и жить, как бы мы к этому ни относились. Как бы мы к этому ни относились... Моего мальчика давно нет. Я живу. И не сомневаюсь, что жить даже мне, вот такой старой, никому не нужной женщине, нужно. И ни у кого нет права остановить собственную жизнь. – Клавдия не спрашивает, что со мной было, но все это говорит для меня. – В семнадцать лет человек только рождается и пока, кроме первого крика, ничего не сказал миру. Позже каждый из нас сделает свой первый шаг, а пока цена всему злу и обидам – слезы. Невелика цена. Слез в запасе много. Пусть это время будет самым трудным в твоей жизни. – И Клавдия сама смеется своему пожеланию.

Мы сидим с ней за большим круглым столом, покрытым вязаной скатертью, пьем чай с вишневым вареньем, которое готовили еще летом. Теперь уже весна.

– И вообще надо думать не об этом! – восклицает Клавдия. – Важно жить прекрасно. И человек живет именно так, когда

ему есть что терять. По большому счету. Если для тебя потери составляют мелкие неудачи и несостоявшиеся желания, то ты ничего не терял. Ты еще ничего не чувствовал и не понял.

Клавдия затихает. Во мне молчит Цвейг: «Тот, кто однажды обрел себя, тому терять нечего». Клавдия не согласится с этим. Она скажет, что Цвейг неправ. Что тому, кто обрел – терять вдвое больше.

В углу стоят увязанные книги, пачка писем и телеграмм, пришедших сюда без меня. В комнате ничего не изменилось. Только на стене появилась картина.

– Подарили? Ученики? – Я подхожу ближе и вижу белую-белую вишню. За ней далеко – дома, дворы. Такие деревянные, такие прогретые, что тепло глазам. – Чье это, Клавдия Павловна?

Клавдия теряется, смущенно моргает.

– Мое. От старости, наверное. Детство стало часто сниться. Говорят, это болит душа. Вот твоей не хватает тепла, а от меня уходит время. Впрочем, все это Пушкин!

– Пушкин? Почему Пушкин?

– Потому что я, прожив две его жизни, сумела только понять то, что он знал: «Невидимо склоняясь и хладея, мы движемся к началу своему...»

Мне хочется ее обнять, извиниться, сказать что-нибудь. Но я не двигаюсь. И позже сильно об этом пожалею. А она долго будет стоять у порога и пристально вглядываться мне в глаза, крепко сжимая руку:

– Езжай домой, езжай! И помни, что у тебя на земле есть еще один дом, который всегда примет тебя. Это мой дом. Не поминай его плохо, он не плохой. Только не очень счастливый.

Клавдия смотрит мне в глаза, чтобы я не сказала то, что боится вслух произнести она сама. Я ухожу от Клавдии и от ее одиночества, уношу с собой картину. В ней живет ее детство, с белой вишней и деревянными крышами. Здесь эта женщина еще не одна. Ей еще в голову не приходит запомнить все это и через много лет к нему вернуться.

– Звони! – Я киваю на маленькую кнопку в двери. Дверь такая кожаная – хочется погладить.

– Нет. В таких случаях входят без стука.

Ларик осторожно толкает дверь. Она открывается. Тихо. Мокрые пятна на паркетном полу. Чьи-то пальто и плащи. Зеркало лицом к стене. Я шепчу:

– Неудобно. Надо постучать.

Ларик не слышит меня и уже кому-то уверенно кивает в приоткрытую слева дверь.

– Вы проходите. Студенты? – Оттуда, куда кивает Ларик, говорят сильным спокойным голосом.

У меня слабеют ноги. Это от застывшего в квартире запаха пихты. Или от этих распахнутых настежь дверей. Там слабо переговариваются, шумно вздыхают, редко передвигаются. Опускаюсь на стул – мне надо решиться войти туда.

Из комнаты слева появляется высокая полная женщина. Взгляд серьезного человека, лицо матрешки: глазки, щечки, носик...

– Игорь! – Женщина властно нарушает тишину. Выглядывают из тихой комнаты какие-то дяди, выходит, видимо, Игорь. Вскинув бровь, оглядывает мельком меня.

– Мама, успокойся, это ребята, его студенты.

– Я спокойна, Игорь, неужели не видно? – резко обрывает женщина. – А вы, позвольте, от имени группы? Или уж от имени всего курса пришли?

– Мама! – Игорь идиотски улыбается и зачем-то кланяется мне.

Мама кладет ему на макушку ладонь и разворачивает его лицом туда, откуда он вышел.

– Поди в комнату, тебе не надо этого слышать. А вы, девушка, можете считать, что я в вашем лице приняла от имени всех сочувствие и оказанную вашим визитом поддержку. Так что можете...

Я наконец понимаю, чего от меня хотят. Ларик прикрывает меня спиной.

– Мы от своего имени пришли. Вы уж простите. Мы – от себя лично.

Руки Ларика прячутся глубоко в карманы.

– Да? – женщина снижает голос до шепота. – Здесь можно курить. На кухне.

И мы почему-то сразу идем туда. Она медленно курит, глядя в окно.

– Даже в этом, – кивает в сторону комнат, – не смог быть человеком. Попросил хоронить из дома. Ожидал, что начнется паломничество сюда? – спрашивает нас, как будто мы знаем, о чем думал ее муж, лежа в больнице. – Надеялся на обожание благодарных студентов?

– Зачем вы так? – голос у меня почему-то осип.

– А как? – женщина вдавливая сигарету и нервно поглаживает ноготки пальцев. – На старости лет пошел в преподаватели, выдумал себе какую-то любовь и носился с ней на смех кафедре и соседям. Пока инфаркт не свалил. Девица даже в больницу не соизволила прийти, а студенты только облегченно вздохнули. Да все это понятно, – она совсем по-старушечьи всплескивает руками. – Только обидно. За него же и обидно.

Мне жаль, что кончается сигарета. Вторую курить неудобно. Там, в большой комнате, надо сказать человеку последние слова. Я ищу в себе чувства. Ничего нет. Только впервые так глубоко, до самых спрятанных во мне точек – жаль.

На улице Ларик крепко берет меня за руку – пойдем. Я киваю. Пойдем так пойдем. Не все ли равно. Но можно ехать.

– Пойдем лучше со мной, – говорю я.

– Куда?

– Пошли. Подождем троллейбус, пусть везет.

Ларик несколько секунд соображает.

– Нет. Нам это не надо.

– А что нам надо?

– Нам надо не по замкнутому кругу, а чуть в сторону – дальше и выше.

Ларик толкает руки глубоко в карманы и достает оттуда не использованный пока билет до далекой отсюда станции Лена. Там, чуть ниже по реке, стоит маленький город, еще в снегу...

Ларик провожает меня на поезд. Парой часов раньше он посадил в поезд на Москву Пырнова. Теперь – в поезд на Восток меня.

– Везет тебе сегодня на отъезжающих, – говорю я.

– Угу! – Ларик расстегивает на куртке карманы, чтобы затолкать туда руки. – Мне на все везет.

– Тогда чего такой невеселый?

– А ты думаешь, провожать тебя – это весело?

Я вспоминаю Машку и сжимаюсь в комок от тех слов, которые Ларик сейчас станет мне говорить. Но Ларик пока молчит. Я вспоминаю Соломона.

– Знаешь, он однажды сказал: только то, что вы помните, только тогда вы жили.

Ларик берет меня за локти и поворачивает лицом к свету. Фонарь тусклый, как все привокзальные фонари. И Ларик внимательно вглядывается в мое лицо.

– Тогда я, лапусик, жил только в тот вечер, когда ты у меня лимоны ела. Вместе с кожурой. – Он неуверенно смеется, и это на него не похоже.

– Ну что ты, Ларик! У тебя друзей столько, Машка есть...

– Машка ушла.

Теперь смеюсь я.

– В который раз?

Ларик улыбается:

– Сказала, что в последний.

– Сказала? Значит, придет. Сейчас проводишь меня, вернешься домой, а Машка уже там.

Ларик не слушает, но кивает. Потом отпускает мои локти и осторожно забирает в свои руки мои ладошки. Я замираю. И ничего не могу ему сказать. Я молчу. Первый раз я отдаю свои

ладони в чужие руки. А он прижимает меня к себе и говорит куда-то в макушку:

– Эх ты, лапусик. Была и нету. Лимоны съела, в кресле выпалась и исчезла. Ты исчезла, а я все еще там тебя ищу. И теперь, как дурак, везде лимоны покупаю.

Мне давит в щеку карман на его куртке, а я не хочу отстранить лицо. Мне так тепло. И голова кружится. И вспыхивает слайд: по облакам снова идет Сикстинская. В лужах под нашими ногами сиреневый свет фонарей.

Уезжать всегда легче, чем оставаться. Я это знаю. Поэтому не спешу. И Ларика не тороплю. Хотя кто-то стальным голосом на весь привокзальный микрорайон в последний раз объявляет, чтобы провожающие не забыли отдать билеты отъезжающим. Ларик отпускает меня и мои руки. И вот уже ни провожающих, ни отъезжающих. Есть я и маленький, в застывших лужах город. Навстречу – как счастье – Альгильдас. Льдинкой тает на языке его имя. Накинув шубку, в пороге стоит мама. Смотрит встревоженно и строго...

А в моей комнате над старым промятым диваном на картине белым цветет вишня. В углу, среди зачитанных книг – Мадонна. Совсем девочка, моложе меня, делает шаг...

Вижу, как с Верхней площади спускается троллейбус – надежные стальные тросики. В моей руке зажат дорожный билет, дырочками – сегодняшнее число. А в дверь привокзального ресторана разгружают лимоны. Маленькие, упругие, с яркой пупырчатой кожурой...

МОЙ КОТ ЯКОВ

Мой кот получил паспорт. С прививками, разумеется. С паспортом Яков почувствовал себя увереннее и стал вести себя по-человечески. С пропиской определился, бумага с печатями и гербом, не абы как. С родовитостью как у всех: сомнительная. Окрас тигровый, серо-зеленый, и кость в масть, и разворот плеча, но до лесной породы весом не дотянул. В его возрасте лесные набирают до двадцати.

– Тогда все шведы просто обязаны достичь двухметрового роста, – возразила я.

– И кисточки на ушах слабовато выражены, – добавил врач.

– А голубые глаза цыганки разве отменяют то, что она цыганка? – наехала я.

Доктор не стал с нами спорить, но Яков попал в разночинцы.

Как бы там ни было, но мой кот Яков стал настоящим членом всего, к чему приписал его документ: семьи, государства, с охватом всех обществ и содружеств, не противоречащих смыслу кошачьей жизни.

– Сядь нормально на пять секунд, – говорю ему, – мне нужна фотография в твой паспорт!

Сел. С таким видом, будто сказал: «Это же вам нужна моя фотография в мой паспорт...» Еле убедила, хотя бы на фоне старой двери. Сесть у стены кот категорически отказался. Еще отряхивался и полчаса отмывался, будто пыль на стене много хуже той, что на дачной двери. Дверь так дверь. Но к делу пришлось подключить профессионала, убрать же этот дурацкий фон. Все как бы случайно: я не умею убирать фоны, а фотографа знаю одного, и он профи. И вот замечательный фотограф, высокого класса, делает коту Якову портрет на документ... Этого парня не всякая модель уговорит. Не всякому журналу он продаст свою работу. И уж точно не всякому покажет то, что сделал, но не продаст. Эта случайная цепочка до сих пор потрясает

мое воображение. Мой кот Яков – среди прекрасных пейзажей, красивых девушек, невообразимых закатов и мостов, разбивающих надвое пространство.

Работа заняла у фотографа немного времени, я особенно напирала просто убрать эту дверь, и все. Дверь так дверь, согласился фотограф. И вот Яков засиял во всей своей красоте на белом фоне, наконец приемлемом для международного паспорта. Мы улетали на Самуи. Его ждали встречи с гекконами, влажные джунгли и кокосовое молоко.

К сожалению, не было и нет фотографии, где Яшка, размером с большое яблоко, сидел в общей корзинке с другими несчастными, посреди адского летнего полдня на птичьем рынке. Оттуда началась его история, когда он вытянул свой счастливый билет, пока другие спали. Этот непростой кот, с человеческим интеллектом, стоял, вытянув шею, и ждал своего часа. Он не собирался возвращаться туда, откуда его принесли на рынок. Вел себя очень умно – он не мяукал, не лез из гнезда, чтобы его не осадил. Кот, после уместившийся на ладони, смотрел в глаза моей Аське так пристально, что она остановилась.

– По-моему, он выглядывает именно нас, – сказала она другу, – он смотрит мне прямо в глаза!

Его даже толком не выбирали. Кот сам выбрал Аську. И сделал первый красивый рывок, не очень похожий на кошачий, – он вскочил на протянутую ладонь. В тот же вечер пятидолларовый боец за жизнь впервые попробовал мороженое. Он полюбил его вкус навсегда, как любят свободу и все, что с ней связано. Когда я достаю из морозилки тубус, кот ни разу не ошибается, если это мороженое. Тогда он приземляется на стол в один прыжок, больше похожий на лет пантеры, минуя преграды, не задев даже мелкой солонки, и все вопросы для себя встречает исключительно как риторические. Но пока я кладу ему порцию и в сотый раз объясняю, что мороженое холодное, он не лезет под руку, не хватается куски, не издает голоса. Он щурится и с наслаждением вспоминает, как вытянул свой счастливый билет.

Он не уснул в той кошачьей кошелке и не проспал момента истины, когда решалась его судьба. Он ждал, вытянувшись на своих упругих ногах и вцепившись в прутья корзинки дикими коготками. И выиграл.

– Холодное! – еще раз предупреждаю я и ставлю блюдце на пол. Яков не спрыгивает сразу, он сначала смотрит мне в глаза, чтобы я прочитала ответ: «Я что, мороженое впервые вижу, что ли...» Снисходительность, с какой он принимает непозволительную для кота сладость, может извинить только его благодарность. Яков умеет мурчать, когда ест. Не всякий кот это может. А если всякий, то не так звучно и музыкально, как мой кот Яков.

Когда блюдце начинает ехать по плитке, я знаю, что мороженого лучше добавить. Иначе он все равно придет ко мне в комнату и уговорит меня это сделать. Сначала закроет собой экран монитора и поставит одну лапу мимо клавиш, потом упрется в меня взглядом и поднимет вторую лапу – «Сейчас поставлю и не промажу!» Придется оставить работу и возвращаться к мороженому, к блюдцу, к тому, поедет оно или нет, и так далее. Поэтому я пью свой кофе, а кот Яков ест свое мороженое, пока нам обоим это не надоест. Тогда мы вместе идем в комнату, я работать, а кот – спать. Это дело кот Яков выполняет лучше всех котов в мире. Четырнадцать часов – норма, но Якова и двадцать не напрягут. Именно на такую его способность я и рассчитываю – в дороге на далекий и удивительный остров.

Аська привезла мне Якова, подростка, всеми любимого, избалованного и уже понимающего человеческую речь, спустя несколько месяцев после покупки. Друг, с которым Аська жила и никак не могла сообразить, отправляться ей в известное всем приключение под названием «замуж» или нет, начал страдать аллергией. В один момент ситуация достигла пика. Я имею в виду аллергию. Пик с замужеством будет освоен позднее.

На тот момент у меня уже жил подобранный на ночной дороге кот, о втором я не мечтала, и даже хуже – я категорически не желала иметь у себя кошачий хор.

Спасенный сердобольными детьми черно-белый Марфик обрел у меня не только пищу и кров, но еще вес и страшный противный голос. Для кошачьего дуэта мое сердце не располагало соответствующим распахом. Марфика я ценила за разумность. Дело в том, что его привезли кошечкой. С первого дня я втолковывала ему, что будет лучше, если он станет котом. Не помню, откуда упала мне информация, что до четырех месяцев котята не могут определиться с полом. Но тут я включилась со всем присущим мне рвением. Умея работать по двенадцать часов, если этого требует дело, я не упустила ни одного случая напомнить Марфе, чернявой, в белом платочке, с белыми тапочками, что ей будет выгоднее стать парнем в пилотке, чем остаться старой девой в косыночке. Мои старания и трезвый рассудок кота, как потом оказалось, действительно сообразительного и оборотистого, имели потрясающий успех. Как-то выйдя на крыльцо и увидев Марфика, я в очередной раз подняла указательный палец и уже готовилась прочесть заклинание, как он повернулся задом и поднял хвост. Между лап сияло надраенное до блеска доказательство мужской силы и, что ни говори, силы слова! Это был настоящий кот, без всяких сомнений. Что и подтверждает до сих пор увеличенное поголовье черно-белой породы, которой до Марфика тут и в помине не было.

Но голос у него остался прежний, и орал он по любому поводу, как только видел меня. Если мое отсутствие казалось коту затянувшимся, он не считал для себя унижительным сесть под окном, где я работаю, и завести свой страшный концерт. Его соло звучало отвратительно. Но он был смелый, к зиме разумно толстел, густо обрастал, а летом опять становился тощий, как прищепка, зато ему не было так жарко. Марфик извел на даче всех мышей, разогнал с двора чужих котов и только боялся ночных ежей. А когда соседский кот вцепился с дури мне в руку, он сделал единственно правильный ход – хватил его зубами и лапами в подхвостье, в то самое, что у него самого всегда сверкает исключительной чистотой. С тех пор мы дружим.

Его навешают красивые белые кошечки. В наш сад он позволяет заглядывать исключительно блондинкам, кругленьким, толстеньким и чтобы глаза с поволокой. Ренуаровский вкус, и все тут.

И вот, смирившись с полезным, смелым, но часто орущим котом Марфиком, я даже в задворках памяти не хранила мысли, что мне могут подкинуть второго. Хотя гороскоп меня предупреждал, что на роду мне написано – принимать всех зверей, которых Аське будет некуда деть. Зная, что звезды не обязывают, пока сам себя не обяжешь, я выбрала для себя ключевое слово «Аська», чтобы хоть как-то ограничить напор созвездий в плане не устроить у меня тут кошачий приют.

Мне казалось, что за свою жизнь я достаточно выходила голубей, ворон и белых крыс, брошенных котов и белок с поломанными ногами. Я ухаживала за всеми обожаемым хорьком Лаки, а Лаки обожал ранние предрассветные часы. Хорька зацеловывали все, кто видел, и без восторга никто не мог пройти мимо. Но просыпаться с ним вместе в четыре утра почему-то никто не спешил. Поднималась я, Лаки шустро летел на кухню, я брела за ним, и начиналось веселье! Он тащил пакеты из нижних ящиков, а я их возвращала на место. Иногда он успевал юркнуть в комнату и отнести добро в диван. Так мы узнали, куда однажды пропали носки, билеты в кинотеатр и Аськин кружевной топ. Во все это были зарыты яблочные огрызки, яичная скорлупа и остатки хлебобулочных изделий. Хорек не брезговал корнеплодами типа морковь и картофель. Лаки был сыт, но запаслив. Засыпал он так же внезапно, как просыпался. Его можно было завязывать узелком, качать на руках, вертеть как хочешь – Лаки спал. Спит, как хорек – это очень точное сравнение.

Почему мы не держали его в клетке, которая занимала половину комнаты и громыхала, как телега, когда он просился выйти? Потому что клетка – это не про нас, это не с нами. Даже птицы жили у нас в открытой коробке и ходили гулять по балкону, а я с нетерпением ждала, когда полетят. Потом, конечно,

они улетали и возвращались с подругами и детьми. Наш подоконник был самый засиженный в доме, мы просто не в силах были поддерживать его жестяную чистоту. Но никто не доставил мне столько хлопот, сколько раненый вороненок. Стаи ворон слетались к тополию за нашим окном и орали на меня целыми днями. Так продолжалось с месяц. Бабушки во дворе на скамейках вздрагивали и крестились: к чему бы это? Когда со второго захода на старом кладбище вороненок взлетел и стая его подхватила и повела, я была счастлива, как бывает, когда наблюдаешь весной журавлиный клин.

Конечно, когда получалось, я подключала в помощь себе всех, кого знала. Но когда позвонила Аська и спросила насчет второго кота, помощников в моем окружении не намечалось. Аська тут же пообещала мне нести полную ответственность за корм, лечение и прививки, и надо сказать, свое слово сдержала. Больше того, она взяла на себя содержание Марфика. И всякий раз обрушивала на кошаков всю свою любовь, как только появлялась у меня в гостях. Решение по коту Якову я приняла сразу и однозначно – «Вези!». Я не могла лишиться себя радости увидеться с Аськой, даже ценой второго кота. Это было во-первых и в главных.

Во-вторых, восхождение на вершину, где люди играют свадьбы и отправляются в счастливый семейный полет, у этих ребят было сложным – путь не тернистый, но тропы разные. Арнольд, Аськиному жениху, это виделось венцом всех его желаний и многотрудных стремлений. Аська же делала из своей голливудской улыбки что-то такое кривое и кислое, что невесте совсем не к лицу. Скособоченность мероприятия была очевидна. Я не собиралась ни держать стропила, ни подкапывать столбы. Но в какой-то момент мы пришли к выводу, что Аське надо пройти в одном направлении хотя бы сто шагов. Беспечность решения «схожу, не понравится, вернусь обратно» мы поняли значительно позже и спрятали его в копилку житейского опыта. Арнольд напирал, и пятиться назад уже как-то совсем не получалось –

завязались отношения с его мамой, с ее дачей, их котами в количестве трех, и Тина Гавриловна полюбила Аську всей душой. Аська столько рассказывала мне о ней, что со стороны казалось, будто она выстраивает родство не столько с Арнольдом, сколько с Арнольдовой мамой. Впрочем, впоследствии так и вышло.

Рассуждать о пользе или вреде замужества было глупо – Аська в том раю не была, поскольку всегда умудрялась сбежать за шаг до загса, а ничей опыт не выглядел подсказкой.

Я ждала ее с чем-нибудь вразумительным, мать я, в конце концов, и на Аську мое сердце имело невообразимые размеры. Там плескалась моя любовь, сладкая, как мед с молоком, в которую никакие силы не могли капнуть дегтя даже из пипетки. Таково устройство моего сердца, когда дело касается Аски. Донести до меня что-то, противоречащее моей любви, дело бесполезное. Я становлюсь глухой, слепой и к аргументам невосприимчивой.

Аська приехала с котом и с Арнольдом. Кот мне понравился. Он был огромный, молчаливый, и он был Аськин. Арнольд был огромный, громкий и не был Аськин. Предупредить его о своей глухоте, слепоте и невосприимчивости я не успела, а потом было поздно. Он держался со мной вежливо, но с дистанцией. Меня очень устраивало расстояние дальше вытянутой руки, потому что, когда Арнольд его нарушал, ничего хорошего из этого не получалось. Приезжал он всегда с подарками, вез много еды, и ее хватало на несколько месяцев. Он забивал мои дачные закрома, чтобы потом не возникло экстренного повода ехать. Простота его хитрости меня смешила. Поначалу. Потом это не было смешно, когда Аська рвалась ко мне, а Арнольд ехать с ней не хотел и не отпускал ее одну, потому как – мужняя жена. Это была забота. Его попытка объяснить суть такой заботы мне имела полный провал, поскольку у меня даже фретка не жила в клетке. Вокруг этого провала мы с Арнольдом вначале сгородили небольшой забор, но потом он окреп и обрел вид добротного такого частокола, какой ставили в сибирских крепостях. Колья были остренько заточены, мы сидели, как в засаде, изредка вы-

совывая нос наружу, и луки со стрелами лежали наготове. Но все это случится не в один день, а с каждым шагом, из тех самых ста, что Аська все-таки осмелится пройти.

На моей даче стояла осень. Что творилось в мире, пришла ли осень в другие города, я знала мало. Интернет работал слабо и не всегда, но я не скучала. Сюда были свезены все старые книги и двойники из домашней библиотеки, и здесь я открыла для себя Мережковского. Вовремя, я как раз уже выкатилась за пятьдесят. Рубеж, когда Мережковского все-таки надо знать. На съемном диске хранились фильмы и музыка. Много я могла пересматривать по пять раз. Мне не наскучивали ни «Импрессионисты», ни «Тот самый Мюнхгаузен», ни «Доктор Живаго», ни «Пуаро». Мне легко заходили и сказки Шварца, и «Идиот». Это во многом зависело от погоды.

Фильмотеку и аудио Аська заботливо пополняла, а я подключала к этому делу Аськиных бывших «мужей». Иногда они приезжали ко мне на своих мотоциклах, мы гоняли по кочкастым дорогам, а вечером пили вино, жгли костер и жарили мясо. Мы смеялись, когда вспоминали, как трудно и здорово им жилось с Аськой. Жизнь двигалась дальше, ее несло и катило, а моя дружба с Аськиными мужчинами цвела и крепла. Они дружили между собой, дружили со мной и продолжали дружить с Аськой. Они не перестали ее любить. Любовь одних своеобразно консервировалась, а у других видоизменилась. Прощание с Аськиными «бывшими» всегда совершалось за калиткой, на заведенных моторах, с объятиями, на хрупкой грани грусти и выдоха, но я обязательно слышала их подбадривающее слово:

– Натуся, не парься, скоро опять завалимся. И звони, если что...

В саду полыхала рябина, на речке стелились туманы, на опавших листьях лежала роса. На эту холодную утреннюю росу и ступил впервые в жизни маленький, в смысле возраста, кот Яков. Для начала он обмер, потом поднял лапу и окаменел. В

этой позиции средней лошади легендарной тачанки он простоял несколько секунд, но так долго, что Марфик сдался и без боя взлетел на дерево. Оттуда он подал свой мерзкий пронзительный голос, на который тут же откликнулась собака. Страшный вой кота и внезапный хриплый «гав» собаки вспороли тишину утра и тонкую комнатную психику кота Яши. От ужаса он прыгнул на дверь и стремительно, я даже не успела открыть рот, забрался по ней наверх. Такое я наблюдала впервые и испытывала восхищение. Кот сидел на двери, непонятно как держась за ее поверхность, и он молчал. Он не издал ни единого звука, только вздыбил свою серо-зеленую холку, а хвост висел лохматой трубой, расправив черные маскировочные полоски. Это была именно та секунда, когда в героя влюбляешься навсегда.

– Яков, я ваша навеки, – сказала я и предложила ему обе руки. В этот момент дверь открылась, вышел сонный Арнольд и снял кота. Рост позволял ему протирать плафоны на люстре без табуретки и вынуждал нагибаться при входе в подземный переход. Когда он потом уехал в Швецию, его принимали за своего, такого же рыжего, лобастого и с прохладным голубым взглядом.

Кот Яков остался жить у меня, а Аська уехала в замуж. Все инструкции, которые Арнольд оставил мне насчет правильного кормления Яши и его домашнего горшка, я тут же забыла, как только за ними закрылись ворота. Горшок я немедленно вернула в пакет, откуда Арнольд его достал и полдня носился с ним по дому, как курица без головы, подыскивая укромное место. Таких мест оказалось немного, и горшок становился, как ни вертись на дачных квадратах, в зоне вселенского обзора. А Яша, как предупредил Арнольд, был из стыдливых и мог промахнуться, если за ним наблюдать в столь интимный момент.

Я оглядела свой сад, где Яков мог свободно справляться с любой нуждой, никому, кроме воробьев, не интересный, и пакет с горшком два года пылился в сарайчике вместе с граблями. Пока я не открыла самый большой чемодан и не написала красным мелом на крышке – «Самуи»...

Арнольд любил Яшку, как любят детей. Он играл с ним, купал его, угощал мороженым, возил на прививки и при малейшем подозрении на что-то, неважно что, бросал работу и летел в поликлинику. Ветеринары Якова знали и радовались, всякий раз впопыхах называя его то мейн-куном, то камышовым, то степным. Последняя версия лесного кота прозвучала, когда мы уже получали международный паспорт, с красивой обложкой, французской надписью и фотографией без фона дачной двери.

Кот Яков смахивал понемногу на все породы своих диких предков, но от каждой ему недоставало чего-то, чтобы признать его одним из них окончательно. Я бегло просмотрела все, что выдал мне интернет, начиная с кошек на древних египетских фресках, прошла по цепочке от семейства через роды и виды и уперлась в подвиды фелис силвестрис. Те опять начинали делиться на группы, и в каждой разворачивались такие неоднозначные определенности, что я утомилась. Я догадалась, что зоологи сами все в глубоких сомнениях, а потому советчики так себе, относительные. Приписать кота Якова ни к буланым, ни к десятку других я не решилась. Все это время он зорко и пристально, как на дичь в кустах, смотрел на меня. Кот был прекрасен уже тем, что не копировал в точности никого, но обладал царственными повадками всех диких кошачьих сразу.

Я не планировала сдерживать его природу, а кот Яков не думал отсиживаться ни в кухне, где я курила, ни в комнате, где для него Арнольд заботливо расстелил пледик. Кровь диких лесных предков разыграла в нем гордостью и свободой. Выскользнув в неплотно закрытую дверь, Яков острым глазом окинул новую территорию и строго глянул на Марфика. Черно-белый, подглядывая за двором из гнезда аистов, понял, что обнаружен и издал долгий истошный крик. Бежать выше ему было некуда. Сверкая глазом между прутьев гнезда, Марфик следил за дикарем, который может взбираться по гладкой двери, и понимал, что дерево для этого зверя с зеленым окрасом просто тьфу и

на раз. Собака лаяла, откашливая морзянкой СОС. Я вышла во дворик, где царил сущий ад, и завывание кота Марфика под моим окном показалось мне «Шуткой» Моцарта.

– Тихо всем! – прикрикнула я, но услышала меня только внимательная собака. У нее тоже была своя непростая судьба, и на дачном дворе, обретя будку, ошейник и миску, моя двор-терьерша чувствовала себя, как овчарка. Жуйка жила у меня уже год, спасенная Аськой от облавы на рынке. Прибыла ко мне толстая, от доброй жизни в мясном отделе, в страхе за свою собачью судьбу не ела пять дней, на что я приняла философское решение – что будет, то будет. Ошейник собака не снимала, хотя шея ее была много шире узкой охотничьей головы, и такой фокус она могла проделать одной лапой. Обжившись и утвердившись в правах, Жуйка научилась нехитрому способу убегать на прогулки, когда ей вздумается. Сейчас она села и уставилась на меня умными шоколадными глазами. Я показала пальцем на Якова:

– Кот будет тут жить. Все. Не шуми. Видишь балбеса в гнезде? – я подняла палец на Марфика. Жуйка замялась, ей стало неловко, что она тут так рьяно митинговала, и улыбнулась. Женское обольщение она тонко включала в нужный момент, и оно работало. Собака умела обаятельно и естественно улыбаться. – Марфик справится, я за ним не полезу!

Собака буркнула и ушла в осыпавшиеся кусты. Лохматая, густо-шерстяная Жуйка все лето проводила в гуще сирени, в особенную жару рыла ямы такой глубины, что еще метр, и из центра земли плюхнет лава. По привычке она лежала там всю теплую осень, а зимовала в будке, которая вызывала зависть всех дачных бомжей.

Кот Яков, не определившись в злых намерениях, но установив иерархию раз и навсегда, начал метить все, что считал нужным и пока хватало его молодой струи. Марфик от наглого беспредела, творившегося на глазах в его подворье, замолчал, только изредка посверкивал зеленым глазом. Яков мгновенно реагировал на сверканье из гнезда и тут же вперивал свой острый суровый глаз в крону дерева, где доверчивые аисты селились уже много лет.

Сделав обход небольшой территории, Яков вошел в дом, полностью удовлетворенный сложившейся обстановкой. Ни дружбы, ни понимания он не искал ни с котом, ни с собакой.

Он сообразил, что теперь будет жить здесь, поскольку тут была его миска, тут лежал его пледик. В морозилке, на случай тоски, хранилось мороженое. Но Яков не выразил грусти по городской квартире, не искал хозяев, хотя я честно на этот случай припасла Аськину кофту. И Яков ни разу не спросил меня, куда делся его горшок. Сад, опавший, цветущий, занесенный снегом, вязкий и мокрый по весне, стал его миром, в котором он легко находил себе разные места для разных целей.

Со временем и достаточно быстро кот Яков подрос, развернул широкую грудь, поднял на мощных лапах немалый вес и пошел расширять свои познания о прилегающих двориках и дворах. Он приводил в столбняк население, мало знающее о домашних котах вообще и ничего, как выяснилось, о подвиде фелис силвестрис. И быстро достиг той славы, к которой больно и трудно идут культуристы, спортсмены и дамы на подиуме. Накачанный, перекачивающий мышцы без низкого театрального позерства, изящно берущий высоту любого забора с орущей курицей в зубах... Ему прощали. А глядя в его неподвижные глаза, денег за жертву не принимали.

– Как там Яшка? – звонила Аська и в голосе дрожала струна, на которую натягивают бодрость, а она все равно поет слезой.

– Мой кот Яков – звезда! – хвалилась я, рассказывая, как он легко очаровывает соседей.

– Уже твой, да? Уже твой?

Арнольдова аллергия не прошла, но выбрала себе другие объекты, либо цветы, либо пыль, но не кошачью шерсть. Теперь это пробовали установить, но поскольку из квартиры унесли все растения, а поверхности мылись, как в операционной, то определить эпицентр зла пока не удавалось. К моменту, когда Арнольд был близок к разгадке, Аська успела сбежать и даже заочно получить развод.

Направление Аськиной мысли, что аллергия Арнольда оказалась незлобивой к животным, мне было ясно, как солнце в окне. Но я не дала дочери шанса повернуть разговор в нужное русло, чтобы вернуть кота. Яков был не первым среди кошачьих, кто жил у меня. Но он был первый, кто покорило мое сердце. Он имел в себе все те качества, которых вместе и сразу не было до него ни в одном представителе этого мира.

– Жмот, да? Жмот... – с грустью посмеивалась Аська. Так кот Яков выявил во мне неприятную черту, скрытую до этого времени. Правда, она ни в чем больше не проявлялась, если дело не касалось кота Якова. Всем остальным я была готова делиться и даже навсегда.

С первых дней кот Яков проявил целительные способности. Без всякой подсказки он выбирал ту часть тела, которая во мне виделась ему не совсем здоровой. Осенние туманы давили на голову, и сместить Якова с верхнего этажа моего корпуса было невозможно. Пятьдесят раз я его сдвигала, пятьдесят раз он приваливался к моему черепу, и сдавалась я. Утром я подсказывала совершенно бодрой, и Яков торжествующе мерил меня своим стереоскопическим глазом. Он сам выбирал средства и дозы. Иногда мурчал, и я научилась засыпать под мерные вибрации его горла. Иногда он укладывался сбоку, вытягивал свое тело от моего плеча до колен, с учетом хвоста, и работал лапами, не пуская когтей. Кот заботился о моем самочувствии больше, чем я сама.

В холодные дни, которые быстро пришли за осенними утренниками, Яков выбегал на прогулку раз в сутки, возвращался взъерошенный и недовольный погодой. Марфик царил во дворе безраздельно, но короткий путь к гнезду из расчета не выпускал. Жуйка потеряла к котам интерес и подавала короткий сигнал, когда Яков вставал у двери. Она знала, что он никогда не мяучит.

Мы готовились с Яковом пережить зиму, которая, судя по бесснежному Покрову, предполагала быть теплой. Заботливый

Арнольд привез дрова с расчетом на три зимы и новый обогреватель на случай, если мы с Яковом не сможем откопаться из-под снега и пробиться к дровнику. Лучший кошачий корм стоял с запасом на год. Третью кухню заняла морозильная камера с продуктами. Арнольд тщательно блокировал аварийные кнопки, способные подорвать Аську и заставить лететь ко мне.

Тина Гавриловна, зная упорство сына, заблаговременно привезла мне на дачу рождественский подарок – небольшую библиотеку своей сестры, которая метнулась за мужем в светлый город Иерусалим. Схема выезда навсегда осталась для меня тайной, потому что к тому моменту муж сестры был отпет уфимским раввином и еврейская линия родства как-то трудно читалась. Но чужая семейная подробность, в которую меня посвятили, подсказывала, что узы наших родов крепи. Библиотека оказалась прекрасной, а романы Гамсахурдия и Пруса – с подчеркиваниями. Вот так мы их и читали долгими зимними вечерами – втроем, я, кот Яков на моей голове и неизвестный башкирский еврей, устроивший своей жене уже посмертно теплую жизнь, а мне – живое уютное чтиво.

– В жизни каждого человека должен встретиться хотя бы один классный еврей! – присовокупила Тина к моей радости. Я была полностью с ней согласна.

Зима шла мерно, посыпая нас снегом, и Марфик все чаще заходил в дом. Кот Яков позволял ему доедать из своей миски, спать в кухне у печки, но тут же устраивал охоту, как только черно-белый осмеливался заглянуть в комнату. Кухня для кота Якова была территорией бесконтрольной. В том ареале невозможно было держать порядок. Но в комнате, заметив нос Марфика в щель двери, Яков вмиг наводил прицел неподвижным взглядом. И Марфик медленно сдавал задом, не теряя из виду позиции наглого главаря. Морда Якова становилась отъявленно бандитской: отведенные назад уши, приспущенные веки и немигающие глаза. Если Марфик, к зиме обретавший идеальную форму шара, мешкал у двери, Яков чуть вытягивал впе-

ред длинное тело, поднимал лапу и давал два нервных сигнала хвостом. Полосатая с зеленью труба придавала Марфику такой прыти и хитрости, что найти его было никак нельзя, пока он сам не выходил из укрытия. Марфик был уличным котом и не оставался ночевать в доме. Но кот Яков каждый вечер предпринимал обход, на случай, если тот изменит своим привычкам. В остальном он вел себя мирно, оставив проявления своей дикой природы до лета.

Все шло гармонично в нашей зимней жизни. Я работала, и Яков спал рядом с монитором, я готовила кофе, и Яков наблюдал за процессом с холодильника. Выше был только книжный стеллаж, но из того угла происходящее просматривалось хуже. Ритм дней с запланированной работой и ровно гудящей печкой было трудно нарушить, но Арнольд сумел. В феврале в каком-то агентстве загорелась турецкая путевка, и жених, пышущий жаром предстоящей свадьбы, одарил нас с Тиной поездкой.

– Он даже меня не спросил! – позвонила я Тине.

– Это естественно, – рассмеялась она, – но спорить с Арнольдом – все равно, что мелом долбить камень. А если он уверен в своей правоте, а он всегда в этом уверен, то будет идти до конца. Если надо – до разгромного конца! И если не надо – тоже... – опять рассмеялась Тина.

– Но у меня кот Яков! Я не могу его бросить просто так!

– Ищи друзей, – посоветовала Тина, – это всего неделя.

Она сама оставляла своих трех котов на попечение давней соседки, на первый взгляд определенно выжившей из ума, но милой и романтичной в свои восемьдесят. С ней я познакомилась на Аськиной помолвке. Бабулька была в древней тальме и кружевной шляпке с пучком вялых тряпичных цветов, но пахло от нее «Шанелью». У меня такой незанятой и даже скучающей от безделья подруги не было. Да и доверить кота Якова ненадежному попечителю я бы не рискнула.

Внезапно свалившаяся на нас с Яковым Турция была не кста-ти, особенно тем, что нас не спросясь, но ради Аськи я готова

была проглотить этот подарок. И Аськины «бывшие» мне помогли. Среди них как раз бедствовала, блуждая с квартиры на квартиру, абсолютно беременная девушка, изгнанная из старорежимной семьи вместе с тем, что имела уже и чему предполагалось случиться. Наша договоренность показалась ей чудом. Я не просто давала ей пристанище на десять дней, я платила ей за то, что она будет кормить мою живность. Библиотека встревожила в ней прибитую бродяжничеством одухотворенность, а наличие интернета смирило с удаленностью от большой земли. По телефону девушка Оля страшно обрадовалась, что она в доме будет совсем не одна, а с котом, большим и умным. Но увидев Якова в реальности, она встала в пороге и прикрыла свой живот обеими руками, хотя скрыть его не могла даже накинутая поверх курточки шаль. Ботиночки, в которых она предстала посреди февраля, малоснежного, но с красивыми и долгими выюгами, ввели меня в легкий ступор.

– Как добрались? – спросила я вежливо.

– Замерзла, – простучала она ровными зубками.

Когда я предложила ей Аськины валенки, толстый свитер до узких и тонких колен, верблюжьую жилетку и кофе, она наконец смогла внятно сказать:

– Мне нельзя кофе. У вас есть чай?

Кот Яков сел напротив беременной девушки Оли и не мигая уставился ей в лицо. Она честно пыталась поддерживать пустую беседу, но взгляд Якова мешал ей сосредоточиться на мне. Я наблюдала ее внутреннюю борьбу за теплое место под зимним солнцем, хотя бы на десять дней, но страх перед дикой природой, которую Яков талантливо изобразил, выдержав сценические паузы, не дрогнув мускулом, не отреагировав на ее беспомощный жест «иди, иди отсюда!», страх взял верх. Скитаться по дворам Оля уже имела опыт, а общаться с домашним котом, который вдруг поднялся на лапы, показал себя в полупрофиль и в рост, и все это не отводя дула зрачка от ее переносицы, – этого опыта у Оли не было.

– А вы можете пристроить вот этого кота на время отъезда? Тех животных я буду кормить и чистоту поддерживать буду, я аккуратная.

– Уже не успею, – ответила я, – собственно, из-за него вы и здесь.

Я отменила такси, вызванное на утро, и позвонила Тине. В Турцию они улетели с навсегда удивленной бабушкой, а трех котов Тины Арнольд устроил в кошачью гостиницу. Об этом он сообщил мне с чувством внутреннего превосходства, чем только укрепил забор вокруг назревшего провала. Я не считала, что мой кот Яков заслуживает просидеть в клетке десять дней только потому, что в каком-то агентстве горела путевка, а у Арнольда пылали пятки от скоростного подъема к пику, прикрытому белой фатой. Наверное, я могла на это пойти, случись оно при других обстоятельствах. Но обстоятельства были эти, а не другие. Я вполне удовлетворилась тем, что до разгромного конца Арнольду, может быть, впервые не дали дойти. И эти герои были мы с Яковом. А беременная бродяжка Оля, стывшая каждый раз, как только видела моего кота, в этом нам помогла.

– Яков, прекрати, – осаживала я кота, как только он занимал подходящую позицию, следя за девушкой. Кот снимал жуткий прицел с ее обмирающего лица, приподнимал на меня бровь и уходил в комнату на мой жест, не дожидаясь словесного приказа.

Конечно, беременной девушке Оле очень хотелось задержаться на нашей теплой и тихой даче. Я предложила ей погостить, пока улягутся холода. Но Яков выразил категоричную непримиримость, связанную, возможно, с напиранием будущим, которое Оля несла внутри себя. Он не давал ей ни малейшего шанса на свободное перемещение, и она всякий раз хваталась за сердце, когда расслабившись, вставала взять кружку воды, а из угла ее мгновенно обнаруживал лазер зеленого глаза. Оля обморочно вскрикивала, а я так же обморочно вздрагивала, роды я принимать не умела. Оля уехала.

Сразу после ее отъезда Яков занял место на подоконнике,

тренируя теперь свою прицельность на редких прохожих и пробежавших собаках. Для начала он аккуратно скинул с окна все, что ему мешало. Убрать кота и вернуть на место свои блокноты не вышло. Когда я снова устроила там бумаги, кот, глядя на меня и не глядя на лапу, сбывал предметы по одному, добиваясь моего понимания. Кот Яков просил места, и я согласилась, что мне хватит стола. Вытянувшись на всю длину подоконника, он лениво следил за суетливыми воробьями. Иногда ус его подрагивал, когда в кормушке взрывался скандал, а на морде было написано: веселитесь, до весны у вас время есть.

– Даже не думай, – угрожала я, пока неизвестно чем. Яков приподнимал бровь и закрывал красивые, с подведенными стрелками глаза.

Так мы дожили до весны, с редкими прогулками к дачному магазину, в группе с толстой Жуйкой и круглым Марфилом. Яков стал часто убегать на рыбалку, что добавило ему авторитета среди местных жителей. Созерцая водную гладь реки с терпением истинного рыбака, он ждал, пока глупая рыба подплывет к берегу. Съедал добычу на месте. Рыбаки успевали его заснять. Так кот Яков стал звездой интернета на рыбацких сайтах и личных страницах честолюбивых соседей.

Затаренные заботливым Арнольдом до третьего пришествия, мы скопили хорошую сумму, настолько хорошую, что появились мысли сначала о лете, а после и о больших переменах в жизни.

Остров, загадочный и такой далекий, что даже Арнольд не мог мечтать о подобном расстоянии между нами, начинал мне сниться. В провинции Сурайтани, в Сиамском заливе жизнь ничего не стоила, если снять бунгало и сдать в аренду свою дачу со всеми удобствами. В синем безбрежье мне уже виделись белые паруса. На мокром песке кто-то там по утрам оставлял следы, и это точно была я. Аськины «бывшие» уже подыскивали мне фрилансеров, мечтающих сбежать из города в мою не такую уж глушь, куда ходили такси, а магазин на колесах приезжал по графику и даже звонку.

К поездке мы готовились с котом Яковом вместе. Трое держали его, завернув в покрывало. Доктор стоял четвертым, со шприцем в руке, где была волшебная сыворотка, дающая Якову право на выезд и въезд в любую страну мира.

– Скажите ему, чтобы потерпел! – приказал мне доктор. И я сказала:

– Яков, пожалуйста, это очень важно!

Процедуру осилили в два приема. Поведение Якова, сорвавшего покрывало одним рывком и откинувшего санитаров задними лапами к стене, вызвало к нему крепкое уважение медперсонала.

После зимы, пережитой тепло и дружно, нас с Яковом ничто не могло разлучить и тем более поменять наши планы. Но на горизонте опять замаячил Арнольд. Я уже показывала коту на экране веселых гекконов, которые будут скакать по бунгалу, и Яков оценивал их не выше мышей. Глаз его стрелял по мишени, но в целом реагировал равнодушно. Кот сворачивался клубком, ответив мне широкой спиной и вытянутой когтистой лапой – справимся.

Своими планами я поделилась с Аськой, и ее тоска полилась морем разлитым. Я понимала, что это не оттого, что я не оставляю ей Якова, а оттого, что у нее завелся Арнольд.

– Как? Вы не приедете на нашу свадьбу?! – кричал он в трубку, и кот Яков не к добру щурил жесткий глаз и подергивал ухом.

– Зачем? – недоумевала я, – регистрация брака, Арнольд, – это просто уведомление государства о том, что вы с Аськой теперь живете вместе. Что поменялось? Вы и так жили вместе...

– Но это же ваша дочь!

– Главное, чтобы об этом помнил ты, – вежливо напоминала я. На Арнольда напал аллергический кашель такой силы, что я подумывала, не я ли – его причина.

Минуя свадебное событие, мы с Яковом невозмутимо готовились к будущему, которое виделось нам прекрасным уже тем, что было наполовину неизвестно, наполовину придумано, а на третью половину, потому что половины никогда не бывают равными половинами, – ново.

Между тем Арнольдовы заботы принимали масштабный характер. Он вез Аську в свадебное путешествие по Европе, а она просилась на неделю ко мне. Он планировал отпуск в Венах и Риме, а она рвалась на старую дачу. Беда в том, что он верил всему, что пишут в книгах. Однажды Арнольд прочел и теперь был убежден: между духом и материей посредничает математика. И, оседлав формулу, строил своим математическим умом план по исцелению Аськи. Схема предусматривала избавление от ее любви к детству и домашнему очагу. Но план провалился. Аськин несовершенный дух плохо ладил с высшей математикой. Материя домашнего очага духу была принципиально ближе – ее он помнил с пещерных времен. А математика? Кто она вообще тут такая, чтобы встывать... И два древних начала, давно решив, что никто на земле никогда не был первым, кинули умного посредника. Сильная схема с опорой на математику дала сбой, и Арнольд перекинулся на вербальный метод. Слово имело неоспоримое преимущество перед всеми другими средствами.

Когда Арнольд начинал доходчиво, так что в ванной падали швабры, убеждать Аську, что теперь у нее нет той семьи, где она выросла, и теперь он – вся ее семья, а все остальное в глухом прошлом, у Аськи то пучились, то узились глаза. Вытаращенным на мужа синим взором она запоминала все, что ей было противно, и, как купец грошик за грошиком, складывала противности в тайную коробочку души. За узкой щелью глаз таился план побега, ибо в открытую, Аська знала, ей никто не позволит уйти. Две попытки не дали результата, только оставили следы боев: синяки, укусы, осипший голос...

Тайную накопительную коробочку уже распирало, когда Арнольд попробовал втиснуть туда очередной запрет. В ней задохнулись вето на курсы французского, дизайна жилища и парусного спорта, а также, и в первую очередь, – на общение с «бывшими». От вулканического возмущения, что я всем Аськиным «бывшим» – просто «Натуся» и продолжаю с ними дружить, а мне запретить невозможно и даже донести эту умную мысль до меня не выходит... коробочку грозило взорвать. Ар-

нольд ничего не замечал, но безропотность Аськи его бесила. Он взламывал Аськины простые пароли и читал ее переписки.

– «Не нравится, всегда есть выход, и это дверь...»?! – цитировал он мне меня и пробовал поучить, как следует правильно из дочек вырашивать будущих жен. Но получил короткий и непечатный посыл.

– Ты сначала свою дочь роди, – добавила я, – такие девочки, как моя, не у всех получаются...

Аське понадобился год, чтобы прийти в себя после побега. А пока она убегала, прячась то за колоннами, то в туалете вокзала, мы с Яковом лежали тихо и ровно, готовые к мумификации. Его щекастая морда на моей груди чуть подпрыгивала, потому что в челюсть ему стучало сердце, то самое, с медом и молоком. Так он недвижно держал свою голову шесть часов, пока Аська летела в скоростном «интер-сити». Потом у дома остановилось такси, и в пороге упал тяжелый рюкзак.

– Деспот обыкновенный, ареал обитания – среди людей... – сказала я Аське. Она, по привычке всех защищать и оправдывать, сначала обиделась за Арнольда. А потом тряхнула своей головой, собрала тонкой рукой свои волосы в хвост и предложила:

– Давай про Самуи. Я в теме. Что там, с островом? Интернет в океане есть?..

Свидетельство о разводе пришло по почте, и мы пошли за ним вместе. Три года отмечали дату как праздник.

– Как там Яшка? – позвонил мне Арнольд уже после Аськиного побега. Судьба кота в моих руках его неподдельно тревожила.

– Живет на свободе, гоняет местных собак. Мой кот Яков счастлив.

– Ваш кот?! – дрогнул Арнольд и добавил: – А у меня прошла аллергия.

– Поздравляю. Теперь ты можешь купить себе кота.

Больше мы никогда не общались. И если нас с Яковом что-то связывает с Арнольдом, то только одна фотография, где счастливый смеющийся швед кормит Яшку с руки мороженым. Эту я в архиве оставила.

У МЕНЯ ОЧЕНЬ МНОГО ЛЮДЕЙ

У меня очень много людей. У меня слишком много людей. Друзья, соседи, родственники, пассажиры и пешеходы. А еще клиенты, пациенты, собеседники. Коллеги, товарищи, друзья.

И я бегу. У меня есть дом и сад. Правда, в дом помещается только моя голова, а в садик станут только мои две ступни. Но там я одна. Сама своя.

Я стою в саду, подняв голову вверх, отмеряя свое место под солнцем. Оно меньше, чем та звезда, размеры которой не больше горошины. И значит, солнечный луч, что падает на меня, не больше той сигареты, что я курю. Но это – мой луч и согрето мое место.

Я – собственник. Мне хочется в собственность Солнце. Не все. Но то, что мое, пусть греет только меня. Иначе его не хватит на всех, кто рядом. Я никого не хочу в свой сад, иначе тот, кто придет и встанет, не впустит меня. Пока он согреется и напится моим местом и моим солнцем, я стану плющом, что стелется по полу веранды в моем доме. Я увяну прежде, чем тот, кто стоит в моем садике, уступит мне место. Я погибну раньше, чем тот, кто отдыхает в моем доме, откроет мне дверь.

Я люблю себя. Больше, чем кто-то. Больше, чем кто-то любит меня. Мир вовсе не тесен. Он просто безумно стеснен. И вытесненная на поверхность любовь не находит себе места между. Она витает над головами. Поэтому я, стоя в садике, держу голову вверх. Я напиваюсь любовью. И забираю не больше, чем способна вместить. И тогда возвращаюсь. Унося в себе то, что уже не вверху и не между, а то, что во мне.

Я запираю домик и прячу ключ. Я закрываю садик и оставляю в нем пса. Читаю слова на своем заборе: ханыга, жадоба, жмот. Их не смыть, не стереть, не закрасить. Мне жаль того, кто писал – он страдал. Мне жаль того, кто не смог войти – он желал. Мне жаль того, кто еще не обрел ни домика и ни сада. Он нищ и гол. И ему некуда преклонить голову. И ему негде

остановить шаг. Я люблю его и жалею. И прощаю. И позволяю ему писать, завидовать и злословить. Я позволяю ему любую игрушку, кроме собственного ключа. Потому что нет слова «ради», есть «вопреки всему».

Я возвращаюсь. Меня ждет очень много людей. Не потеряв ни капли, я несу нерастраченную любовь. Чтобы – отдать.

1990 г.



Каменные слёзы. Серпентинит, известняк. 2002 г. 15x20x8 см



Андрей Антоненко «ЧТО ЗА УТРО!»

Я вновь вспоминаю родные места...

Геннадий Васильев

Сначала было так: два человека из разных точек города в одно и то же время вышли навстречу друг другу. Они не знали, что идут друг к другу, они просто шли в магазин, единственный магазин в городе, где работал замечательный продавец по имени Жора.

Там не торговали колбасой, водкой и прочей продукцией, так необходимой на тот период основному населению... Это был книжный магазин.

Итак, они вошли туда в одно и то же время и встретились у одного-единственного стеллажа, где стояли томики с поэзией...

О! Если бы знал Роберт Рождественский, что на этом стеллаже стоит единственный маленький сборник его стихов и что эти одновременно протянут пальцы к его единственной в магазине маленькой книге, он бы наверняка посчитал себя крестным отцом, соединившим двух парней дружбой на долгие тридцать с лишним лет.

Продавец Жора что-то говорил о поставках, о скорых поступлениях, но эти двое уже ушли...

Но шли они уже теперь в одном направлении.

Потом был Томск...

Потом – «Голубой вагон»...

А пока они шли в одном направлении.

Спасибо, дядя Роберт!

13.09.2014



Актёр. Серпентинит, известняк. 2004 г. 18х27х9 см

Ночь помутнела в призрачном тумане.
Уж скоро занавешенное небо
Сорвет с себя белеющее знамя
И упадет на город тяжким снегом.

И вновь тогда зачавкает в проспектах
Сырая прибалтийская зима...
Все меньше, меньше солнечного света,
Все чаще свет из моего окна.

Не выдержу, закрою тихо ставни,
Уйду туда, где поезд на восток
Призывно стонет стыками состава,
Бросая дым оставшимся в лицо.

И ничего из прошлого не нужно,
Быть может, мне покажется теперь,
Но в синем небе так печально кружит:
«Прощай, Даугава! Здравствуй, Енисей!»

А в радости мерцающего снега
Я вспомню на мгновение тогда,
Что где-то меньше солнечного света.
Все чаще свет из моего окна.

ФАНТАЗИЯ

Я к образу Вашему глаз незабудковых
Да не забуду у зим на Крещение
Вымолить окон январское кружево,
Вызвонить двери закрытой прощенье.

Тихо глазеют замочные скважины –
Видимо, их назначение вечно.
Завтра они обязательно скажут:
«Как неприлично...»

Пусть я преступник, если преступно
День растворить в Вашем черном подъезде,
Если б ступенькою стать Ваших лестниц,
Пусть я преступник...

...Сколько часов просидел у окна,
С нежностью вписывал каждую строчку,
Думал: быть может, придет Она...
...Образ, придуманный Одиночеством.

ПОЕЗД РИГА – ЛЕНИНГРАД

Как прежде, влажное белье
И чай прозрачен, как водица.
Билеты молча соберет,
Не улыбнувшись, проводница.

Как прежде, прыгает в окне
Кривое очертанье леса
И будут всполохи огней
Будить холодным тайным блеском.

И весь вагон проснется вслед,
Прижмется к окнам помутневшим.
Там ночь, и ночь темна, как прежде,
И ничего за нею нет.

А утром, словно оживая,
Сосед мой песню запоем,
Но так тоскливо, будто зная,
Что впереди произойдет.

ПОСВЯЩЕНИЕ ПОЛЮ ЭЛЮАРУ

Твои глаза соединились с небом.
Твоя спина соединилась с полем.
И пальцы, будто корни, шевелились,
Вгрызаясь в неподатливую почву.

Я жил в тебе, я проникал в пространство,
Казались поры пропастью бездонной.
Иль я был мал, иль ты была вселенной?

Любимая!

И, проникая сквозь тысячелетия
К язычеству, к началу мироздания,
Мы разрывали связь с кошмарным веком,
Распухшими врасаю семенами
В распаханную жаждущую землю.

Ты сок мой пьешь,
Я дерево святое.
Ты – пряный плод!
Я первый пьяный жнец.

Твое лицо проталиной чернеет
Среди сугробов взбитых простыней.
У изголовья в тоненьком стакане
Две ветки вербы распустились вдруг.

Иль это все весна на самом деле,
А может, наш полночный производ
Продвинул вглубь слепое время года?
Любимая, ты где?

Ты где-то рядом...

Я слышу, будто плещется вода,
Как шелестит твой ситцевый халатик,
Наброшенный на плечи впоыхах...

Шипенье чайника, кофейный аромат –
И это все мгновенье или меньше...
И вот уже стоишь передо мной –
В руке стакан, в распахнутом халате...

В пространстве между полами его
Вся ночь, весь день, весь обалдевший космос,
Весь смысл приготовленного кофе!!!
Любимая, я где?

Я где-то рядом...

Как медленно из рук скользит стакан,
Как плавно в том паденье наклоняясь,
Выплескивает жидкость на ковер,

И жидкость, проливаясь, проникает
Сквозь материал, сквозь пол, сквозь землю,
Сквозь планету...

Любимая, мы где?

Мы где-то рядом...

НОЧНОЙ

Мне кажется море, ты чувствуешь – море,
и чайка хохочет по-человечьи...
– То, милый мой, выпь за болотами воем
и чащи таежные листьями плещут.
– Ну что же тогда я так странно настроен?
Ты видишь в ночи очертанья собора?
В нем, кажется, Баха,
да, Баха играют.
Уж полночь и поздно, идем, опоздаем...
– Да нет же, любимый, его не закроют,
пока не закроют.
Ты странно настроен.
То кедр столетний стенает ветвями
и чащи таежные листовенно вторят...
– Но сыплются мне янтари на ладони,
рыдает как будто сосна красотою,
кривая сосна у Балтийского моря.
– Да нет же, любимый.
Да нет же, любимый.

Ведь волосы это мои и не боле.



Смотрящий в небо. Серпентинит, известняк. 2004 г. 23х31х11см

ПЛАНЕТА ИЗ СТЕБЕЛЬКА

*...как же ты выжило,
поле из одуванчиков...
Леонид Могилев*

I

Сквозь надрезанный стебелек одуванчика,
Призрачна и легка,
Радуга выдуваемых шариков
Рыжего малыша.

Под звуки органа в тысячу труб
Выпустят во Вселенную
Алые листочки губ
Планеты...

...из мыльной пены.

– Летите, шарики!

Мгновенно ваше изящество.
Видишь,
Света уличного фонаря,
Самый маленький,
Голубого цвета,
Завис на стебельке.
Этот –
Наше хрупенькое отечество,
Наша взмыленная планета.

Лети...

Под литавры, грохочущие из моей груди, –
Не упади.
Не спеша подымайся к небу,
Хранимый дыханием рыженького малыша...
Мне бы

легкость твою,

Мне бы легкость твою,

Мне бы...

...неба.

II

Из осторожности не отражаюсь –
Тяжел,
Как летящая корочка хлеба
По черному туннелю
Мусоропровода
От холода окон
Опустевшего города.

Из осторожности не отражаюсь –
 Тяжел.
 Вживаюсь
 В облако смога.
 Как роща больная
 Харкала березовым соком –
 Я кровью харкаю.
 Тяжел,
 Из осторожности не отражаюсь.

Что же ты, шарик,
 Тяжел?
 Не оторваться от стебелька.
 Страшное чье-то лицо,
 Тяжкая чья-то рука
 В сфере твоей витает.
 Голубенький мыльный шарик,
 Планета из стебелька.
 Шрамик –
 не выдержал,
 еще шрамик,
 ВЗРЫВ!..

...Что касается рыженького малыша,
 То он не скрывает
 Своей радости...
 Он пускает
 Мыльные пузыри.

ПРАЗДНИК

Чайную ложечку тихого озера
 Время зажало бетонными пальцами.
 Рывкнуло белым оскалом бульдозера –
 Выпило озеро...

Белый бантик на ветру	Маша песенку поет
Платице в цветочек	О родной отчизне
Завитушечки на лбу	Дождик по небу плывет
Красненький флажок	Бантики обвисли

Маша вышла на парад	Это очень хорошо
Машин это праздник	Свежестью запахло
У нее отец солдат	Маша песенку поет
Дедушка и братик	Ей совсем не плохо

Белый бантик на ветру
 Платице в цветочек
 Что ты хмурый, не пойму
 – На, держи флажок

БЕССОННИЦА

В каморке тени, тени
 По стенам обмороженным снуют,
 И кран хрипит, как пьяненький сантехник,
 Отхаркивая внутренность свою.
 Бессонница. Бульдозер по-пластунски
 Какие сутки пузом режет грунт,
 Он, как солдат, хронически простужен
 И, как солдат, безжалостен и груб.
 И, как в воронках, пусто и печально
 Чернеют перспективы на жилье,
 Грохочут котлованы одичало,
 Свирепствуя в сознании твоём.
 Бессонница. Бессонница на стройке.
 От сопки к сопке, разевая рот,
 О каждый дом, о каждый вбитый столбик
 Шел спотыкаясь в город новый год.
 А за столом, под елочкой искусственной,
 Кусая губы, взвоешь от тоски, –
 Бессонница, когда услышишь музыку
 Из будущих романсов городских.

Бросаюсь в тебя, как в поезд попутный,
 Побудем немного, согревшись в постели.
 Врастают глаза, будто две незабудки,
 В плечо напоследок.

Сквозь очередь лезу, как к кассе билетной,
 С копеечной пригоршней обещаний:
 – Продай мне билетик – проехать до лета.
 Сумеешь прощать?
 Не сумеешь – прощай!

Сквозь тысячи верст в полустанке промозглом
 Я зверем завою, и ты не услышишь.
 Сквозь тысячи верст бесконечно и звездно
 Ты будешь любима супругом и сыном!

А в час, когда чашечка с теплым какао
 Из пальцев скользнет и прольется на скатерть,
 С какою тревогой ты глянешь на карту
 И с нежностью пестрый лоскутик погладишь.

Воскрешаю тебя из прошлого
В комнатухе сырой и серой.
Ты под ребрышком где-то слева
В руки просишься...

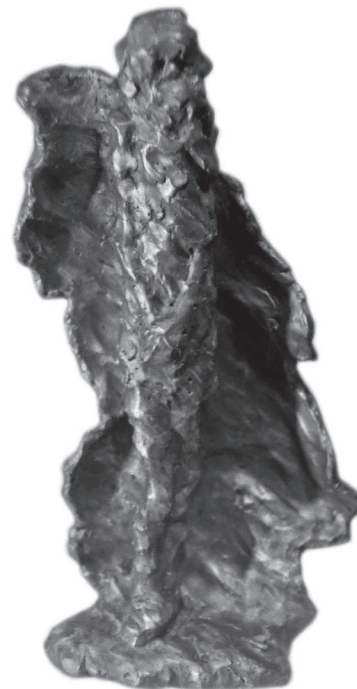
Ночью легкие еле дышат.
Может, за ночь прокурен воздух?
Или просто тебя не вижу
Возле...

Возле возятся губы чьи-то,
Сладко шлепают в грудь и шею...
Воскрешаю твой голос чистый.
Воскрешаю.

Шелест парков и пар нарядных,
Каждый звук, что тебя окружает,
Среди всякой словесной дряни
Воскрешаю.

Страшно думать, как ты сплетаешься
Ночью с кем-то в комочек липкий...
Лишь бы он тебя не оставил!
Лишь бы ты его не оставила!

Я проснусь – и снега растают,
Друг вернется – настанет лето.
Лишь бы я тебя не оставил!
Лишь бы ты меня не оставила!



Столб. Гипс тонированный. 1978 г.

Танцует кукла на витрине
И ножкой крутит черный диск,
И белый бантик набок сдвинут,
Легки ее движенья с виду –
Вот ручки вверх, вот ручки вниз.

С утра купец свой палец гладкий
Под платянице тебе заводит
И что-то там опять заводит
Под бряцанье простейшей гаммы.

И, начиная все сначала
Под чей-то плач и чей-то смех,
Меня уже не замечаешь.
Вот ручки вниз, вот ручки вверх...

И так с утра и до заката,
Пока пружина не ослабнет
И с лязгом не закроет ставни
Горбатый сторож в полутьме.

И темнотой надежно скроет
Твою мечту по материнству,
И платяща помятый ситец
Крамольную слезинку примет.

И мысли ухмыльнутся криво:
Ты – кукла, кукла, кукла, кукла...
...

И может быть, уже назавтра
Какой-нибудь юнец азартный
Возьмет — и купит, купит, купит
И поломает в полутьме.

Я бы унес тебя отсюда,
Остановил бы черный диск,
Но так же, как и ты, танцую,
С картонным ценником танцую –
Вот ручки вверх, вот ручки вниз.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Желающим вернуть радость
Обращаться по адресу:
Улица Зеленая.
Дом первый, голубой,
С хрустальными стеклами.
Дверь, обитая дерматином.
Номер –
два миллиона четыреста...
в общем, длинный.
Когда войдете – найдете.
Хозяин – я.

Мои движения до слез смешны,
Следите за ними.
Смотрите на мои штаны,
Смотрите на мебель, рояль –
Все здесь приносит радость.
Я выдаю миллионы веселых фраз –
Следите за ними,
Но только...
 не трогайте глаз.

Что за утро нынче выдалось!
Как свинцовый тюбик с краской,
Небо, нежно солнце выдавив,
Город вычертило сразу.

И общага сонно щурится,
Руки вытянув из окон,
Люди жадно солнце щупают –
Разве было столько солнца?!

От пурги ползли до дождика,
Пальцы больно в ботах корчились.
Видно, в небе у художника
Этот мерзкий кризис кончился.

Видно, эта декаденщина
Так не вписывалась в стройку,
Парни, дети, бабки, женщины
Молча тянутся к востоку.

И щеками ощущая
Шелк ворсинок дивной кисти,
Восторгается общага
Удивительнейшим мыслям.

ПТИЦА

В закрытое окно проникнет
Печальный призрак тишины,
И мутный маятник луны
Мерцаньем голову осыплет.

Который год мы ждем его,
Желанья превратятся в муки,
Заломишь на мгновенье руки,
Разбив ладонями стекло.

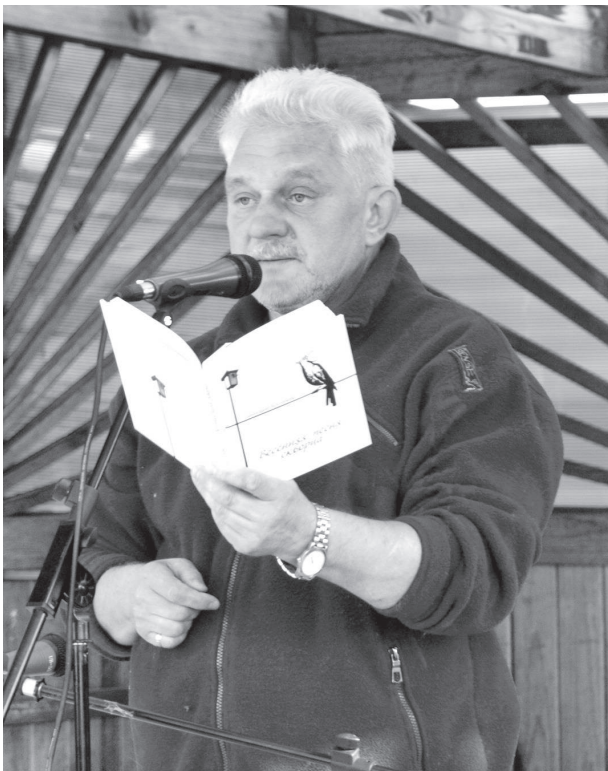
С многоэтажной высоты
В пустой проем метнешься ты,
Взмахнешь подрезанным крылом...

...А утром птичьи перья ветром
Поднимет над пустым проспектом
И заметет...

...лицо мое.



Человек солнца. Серпентинит, известняк. 2002 г. 15х22х7см.



Геннадий Васильев

«ДВА ВЕДРА ДИНОЗАВРОВ»

Геннадий Васильев родился в Томске, служил в Группе советских войск в Германии механиком-водителем среднего танка. В 1980 году приехал по комсомольской путевке на КАТЭК. Ненадолго уезжал из Шарыпова в родной Томск, вернулся, работал на стройке, потом в разных местах – в конце концов нашел себя как журналиста. С 1987 года – житель Красноярска. Журналист, литератор, бард.



Друзья-мечтатели. Серпентинит. 2014 г. 12х25х9 см

БОЧКА ПИВА

Из цикла «Дурацкие рассказы. Из старых времен»

*Мой первый литературный опыт.
По мотивам Марка Твена*

Этот рассказ я написал давно. Он и стал моим первым прозаическим опытом. Дело было в начале 80-х годов прошлого века. Рассказ был простенький, история списана с натуры, как я услышал ее в изложении очевидца – нашего Кузьмича. Мы с моим другом

Антоном работали тогда на стройке, в бригаде плотников–бетонщиков. Работать нам было неохота, мы мнили себя литераторами, в вагончике, в котором жили вдвоем – с нами еще Леха, он был отделочником и работал в другой бригаде, на другом участке – постоянно собиралась публика, которую мы определяли как богему. Мы читали стихи, пели под гитару, иногда слушали классическую музыку на примитивном проигрывателе – проигрыватель часто ломался, да и пластинок было мало. Ну и, конечно, сочиняли. Часто

– ночами, поэтому регулярно опаздывали на работу. Бригадир косо на нас поглядывал, но молчал до поры.

В бригаде был один старый (старый – по нашим меркам: два года до пенсии; мы–то, сопляки, только–только подбирались к своему 25–летию), кадровый рабочий. Звали его Анатолий Кузьмич, или просто Кузьмич. Он был сухонький, невысокий, но жилистый и рукастый. Плотник–бетонщик он был высшего разряда, а еще – каменщик, стропальщик и бог знает кто. И великий мастер травить анекдоты, а чаще того – истории из жизни. И вот однажды после обеда, когда бригада перекуривала в вагончике, бригадир Володя попросил:

– Кузьмич, расскажи молодежи, как в прошлом году тебя милиция замела за доброту твою!

Кузьмич разогнал ладонью чужой дым – сам не курил, – рассказал незамысловатую, но действительно смешную историю. В эпоху повального дефицита – а я рассказываю про то время, про ту эпоху – пиво, например, в нашем небольшом поселке было событием. И вот привезли в выходной пиво, а у Кузьмича на тот момент случились шальные деньги – что–то кому–то где–то построил или отремонтировал, – проходил мимо машины, с кузова которой это пиво продавали. Из деревянной бочки наливали в бидоны. У машины, конечно, толпились мужики. Черт ли Кузьмича дернул или бес нашептал, только пошелестел он в кармане своими сбережениями, подошел к машине сбоку и говорит продавщице:

– А продай мне бочку!

Та не поняла сначала – думала, он пустую бочку просит. А ког-

да поняла – растерялась. Ну и продала. Кузьмич мужиков попросил, те сняли бочку, не понимая еще – в чем дело. Он ее раскупорил, попросил у водителя шланг чистый – не тот, через который он бензин сливает, – вставил шланг в бочку и говорит мужикам:

– Угощайтесь!

Те оторопели. А когда поняли, что он им бесплатное угощение предлагает – ну, тут пир и пошел.

– Только я с тех пор понял: халява – самое страшное для нашего человека, – говорит Кузьмич. – Они сначала–то очереди держались, а как бочка убывать стала – давай друг друга отталкивать. Я было вмешался – ну, прилетело мне.

А кончилось и вовсе смешно, хотя и грустно. Неподалеку от площади, где злосчастная машина с пивом стояла, находилось отделение милиции. Из окна блюстители увидели беспорядок, вышел молоденький сержантик, мужиков усмирил – и спрашивает у продавщицы: кто, мол, инициатор беспорядков? Та и укажи на Кузьмича. Ну, его и загребли, а за сопротивление – не хотел он идти, все пытался рассказать – как на самом деле было – еще и пятнадцать суток влепили.

– А у нас – объект срочный, сдача, – это уже Володя, – пришлось аж через начальника стройки его из каталажки вызволять.

Мы в вагончике над историей посмеялись, пошли работать. А потом я написал про это художественный рассказ, кое–что изменив и приукрасив, конечно, и понес в редакцию.

Рассказ у меня не приняли. Заместитель редактора районной газеты, куда я принес рассказ, ничего толком сказать не могла сначала. Долго шелестела бумажками, хотя рассказ был всего на двух страничках. Потом вздохнула:

– Приходи завтра, поговорим.

О чем было говорить? Ну нет – так и сказала бы: «Не подходит!»

Я пришел завтра. Уже по тому, как тяжело и брызгливо крятели под моими шагами ступени скрипучей лестницы, поднимая меня на второй этаж, я понял: ничего хорошего меня не ждет. И заранее жалел об этом. Рассказ был принесен с дальним прице-

лом, я очень хотел устроиться на работу в эту газету. Но редактор, нестарый, сорокапятилетний примерно мужик с убегающим взглядом, брать меня упорно не желал. И не отсутствие образования было тому виной – половина его корреспондентов не имела журналистского образования (район – не город), – а что-то другое, о чем он не говорил. И вот теперь тяжкое бремя ответственности за очередной отказ он переложил на хрупкие плечи своей замши, слабой и доброй женщины. А сам ушел в отпуск. Она бы, может, и напечатала, да и на работу бы взяла, пожалуй, но – установка.

В кабинете заместителя редактора, кроме нее, был еще один человек, я его узнал. Это был парторг стройки. Он иногда приходил к нам в вагончик, в котором мы жили втроем с моими друзьями, приходил чаще всего в отсутствие меня и Антона, специально стараясь застать на месте одного только Леху, который часто работал в ночную смену. Леха с виду казался простаком, и парторг пытался этим воспользоваться. За нашим вагончиком гуляла по стройке и поселку (потом он стал городом) дурная слава: будто были мы не то диссидентами, не то сионистами и собирались у нас темные личности. Диссидентами мы были, наверно, потому, что часто громко вслух читали Евтушенко и Вознесенского, которые нам тогда казались самыми смелыми на поэтическое слово, а сионистами – потому что к нам часто действительно приходили две «темные личности», два московских еврея, люди живые, в меру просвещенные, а по условиям поселка – так просвещенные сверх всякой меры. Я их называть по именам не стану, они нам дальше в повествовании не понадобятся.

Парторг примитивно пытался расколоть нашего Леху на какое-нибудь нечаянное признание. Он просил налить себе чаю – отказать ему Леха не мог, парторг стройки, а вагончик – ведомственный, – потом поднимал к потолку глаза и, как бы вспоминая что-то, произносил, например:

Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и кликуху огнем в бараке, жил у моря, играл в рулетку, обедал бог знает с кем во фраке...

И спрашивал у Лехи:

– Как там дальше – не помнишь?

Леха местами был человеком девственным в части культуры, но кое-что знал. Неиздаваемый еще Бродский у нас в рукописях водился. И простаком Леха не был. Он, конечно, мог сказать парторгу, что у автора – не «огнем», а «гвоздем», и не «бог знает с кем», а «черт знает с кем», – но зачем? Леха наивно спрашивал:

– Это же из «Братской ГЭС» Евтушенко? Нет, что-то дальше не помню...

Раздосадованный парторг уходил, не допив чай и бормоча под нос:

– Навезут дурачков из провинции!..

Его короткий и несгибаемый ум не в состоянии был понять, что его «развели».

Вот такой человек сидел передо мной в кресле редакторской замши, а та робко притулилась на стульчике у стола. Как только я вошел, она вскочила, сказала:

– Я на минуту выйду к корректорам! – и больше уже не появлялась до конца нашей беседы.

А беседа была такая.

Парторг... чужой фамилией я его называть не стану, потому что любую фамилию он замарает, а его настоящую говорить брезгую, пусть будет: К. Так вот. Парторг К. сразу взял быка за рога. Он долго и тяжело на меня смотрел, долго и тяжело молчал – видимо, он так себе представлял психологическое давление. Потом взял с замредакторского стола два уже не совсем свежих листка с моим рассказом, подержал их перед глазами, как бы измеряя еще раз глубину моего нравственного падения, брезгливо положил листки на стол, спросил:

– Вот ты... вы понимаете – ЧТО вы написали?

Я пожал плечами:

– Рассказ. С натуры. Это реальный случай.

– Правда жизни, значит? – К. снова построил тяжелый взгляд.

– Правда жизни и художественная правда – не одно и то же! Художественная правда – это... это – не правда жизни! Это – художественная правда!

Он чеканил бессмысленные слова, я смотрел на него с изумлением. Зачем звали-то? Рассказ – совершенно бытовой, претендующий на смешное, причем тут правда–неправда?

Парторг неожиданно встал, подошел ко мне вплотную – я забыл сказать, что все это время я так и стоял посреди кабинета, как вошел. Он подошел ко мне вплотную и вдруг спросил:

– Вы там общаетесь с этими... евреями двумя – кто они такие? (Все-таки пригодились они в повествовании: Гуревич и Бейлин.)

– Вот эти – Гуревич и Бейлин, – они кто такие? – снова спросил парторг и придвинулся еще ближе.

Я снова пожал плечами:

– Наши друзья. А чем они вам не угодили-то? Они в стройуправлении работают, специалисты оба, один инженер, второй...

– Да знаю я – кто они такие! – раздраженно замахал рукой К. – Что вы мне тут рассказываете их автобиографию!

– Так вы же спрашиваете – кто они...

– Я спрашиваю в идеологическом смысле! – отчеканил парторг. – Кто они? К чему они вас ведут? Чему учат? Что подсовывают?

Я начал понимать – о чем он, и меня стал разбирать смех.

– А, вот вы о чем, – я сделал вид, что оживился. – Да, действительно подсовывают. Надоели уже, деваться некуда. Вот, «Братскую ГЭС» недавно вслух читали, помните, есть там – про рабов, про пирамиды...

Парторг свирепо уставился на меня, почти закричал:

– Что вы – сговорились?! «Братская ГЭС»... Знаю я, какая ГЭС у вас там... братская...

Он закончил неожиданно, но так, что мне запомнилось на всю жизнь:

– Мой вам совет: читайте поэта Михаила Дудина. А с этими товарищами вам лучше порвать навсегда. Общение с ними заведет вас в идеологическое болото, – последняя фраза прозвучала почти торжественно.

На этом мы и расстались. Замредактора так и не вернулась в свой кабинет: стыдно ей было, видимо. Я понял, что на работу в газету меня не возьмут из-за моей склонности очернять действительность.

И вот прошли годы, началась перестройка, другая жизнь – и я снова вспомнил про свой рассказ. Теперь на «очернительство советской действительности» наверху смотрели очень даже положительно, и всякий, самый мелкий издатель, старался быть, как теперь говорят, в тренде, а тогда говорили – на гребне.

Газета к тому времени разделилась на районную и городскую (поселок стал городом), и бывшая замредактора стала редактором районной газеты. Теперь она сама определяла – кого печатать, а кому отказывать. Приняла она меня с распростертыми, про тот случай не вспоминала, и рассказ мой, не читая, прямо при мне отправила в набор. Сказала прийти завтра – вычитать гранки.

Я, как и несколько лет назад, пришел завтра. Ступени скрипели все так же подозрительно и недоброжелательно. Я насторожился. И не зря.

В кабинете редакторши (кабинет-то остался прежний, в котором она еще замшей сиживала), кроме нее, сидел еще Иван Юрьевич Кононенко, матерый, опытный журналист–сельхозник. Про Ивана Юрьевича ходили легенды: будто он по одному внешнему виду каравая мог отличить – из какой муки тот был испечен, а по срезу говядины сказать – чем коровушку кормили при жизни и на каком году ее этой жизни лишили.

И еще кое-чем был знаменит Иван Юрьевич Кононенко в журналистских кругах. Он никогда не писал газетный материал объемом меньше, чем на полосу. На работу он всегда приходил, неся с собой в портфеле литровую банку бражки, ставил ее в стол – и писал, отхлебывая. К концу дня был весел и непринужден. Впрочем, материалы его выходили добротные, в них невозможно было найти фактических ошибок, и поэтому районные аграрии, со многими из которых он был на «ты», его уважали.

Вот такой человек теперь сидел передо мной – и улыбался блаженно.

– Здорово! – Иван Юрьевич встал, протянул руку. – Садись, поговорим. Редакторша сказала:

– Я на минутку к корректорам! – и вышла. Ничего еще не понимая, я все-таки забеспокоился.

– Я тут случайно в наборе твой рассказ увидел... – задумчиво сказал Иван Юрьевич и замолчал. Он рассматривал меня некоторое время, потом взял гранки (гранки! мой рассказ уже был набран, уже был готов пойти к читателям!), положил их перед собой.

– Давай я тут некоторые... избранные места прочту, обсудим. Я начал заводиться.

– А чего обсуждать-то? Все с натуры писано. Не подходит рассказ – ну, пусть мне редактор об этом скажет, я в другое место отнесу... в журнал отправлю.

– Ну, можно и так, – весело сказал Кононенко и вдруг засмеялся. – Слушай, а ты правда не читал у Марка Твена «Как я редактировал сельскохозяйственную газету», нет?

– Не читал и не собираюсь! – ответил я раздраженно. – Сатира-юмор – это не мое, я считаю, жизнь заслуживает серьезного к ней отношения!

Кононенко изумленно уставился на меня.

– Жизнь заслуживает серьезного отношения? Ну, старик, ничего смешнее я еще не слышал... Ладно, черт с тобой, – он убрал ухмылку. – Давай тогда говорить серьезно. Вот у тебя тут есть портреты мужиков – очень колоритные. Они же сельские, мужики-то эти, так я понимаю? Ну, они у тебя тут – трактористы, дояры, скотники...

Я кивнул согласно. – Сельские.

– И они такие... передовики производства в основном, да?

– Ну да. Это – чтобы контраст построить: типа – передовики производства на работе

– а вот бытовая ситуация, соблазн небольшой – и они уже ведут себя, как... – Ну да, ну да, как скоты! – весело закончил Кононенко и опять почему-то засмеялся.

Но тут же снова посерьезнел. – Тут у тебя один передовик «с бородой ежиком» – кстати, как это – «борода ежиком»? Ну, неважно. Так он у тебя экономит в сезон на тракторе ДТ-75 тонну бензина.

Крутой мужик. Кстати, трактор ДТ-75 работает не на бензине, а на дизельном топливе, которое в просторечии называют соляркой. Да ладно, пускай и это неважно. Но вот тут дояр есть – шедевр! Доска почета по нему плачет и выставка достижений... Он у тебя доит от одной коровы по центнеру молока за раз. Ну, в Израиле, я читал, действительно случается годовой надой до 12000 литров от коровы, делим на месяц, получаем 1000, делим на количество дней... ну, центнер-то все равно не выходит! А мы – не в Израиле, в Сибири. Ты бы хоть поинтересовался у кого. Да хоть у меня.

Иван Юрьевич как-то враз утратил веселье, говорил он со мной, скорее, уже грустно. А я, пристыженный и бездарный, сидел перед ним дурак-дураком.

– Ну, больше тебя мучить не буду, только одно вот еще замечание. У тебя герой-то, Петрович, откуда деньги на пиво взял – от вырученной картошки?

– Так сдают же картошку-то, каждый год сдают, сам видел...

– Сдают, – согласился Кононенко. – Верю, что видел. В календарь смотрел – когда видел-то? У тебя в рассказе дело происходит в середине июня. Картошку у нас когда копают, в Сибири? Эх... – он безнадежно и как-то обиженно даже махнул рукой. Отдал мне полосу с гранками рассказа – если сначала мне запах типографской краски казался приятным и обнадеживающим, теперь краска неприятно воняла, и больше ничего. – Ты свой рассказ в таком виде никому больше не показывай. Я – добрый. Другие побить могут.

Я вышел из редакции, оглушенный, пристыженный, униженный – кем? чем? – собственной бездарностью и глупостью. Понятно было, что после такого... дебюта меня не возьмут в эту газету даже курьером. Литить мне пожизненно бетон, класть кривую кирпичную кладку (она у меня получалась исключительно кривая), писать графоманские строчки ночами: «Даль голубая, синь бесконечная, Травы в слезинках росы... Здравствуй, Сибирь, моя, добрая, вечная, Я – твой хозяин и сын!» – было у меня такое стихотворение...

«Напиться, что ли?» – подумал я и побрел к магазину, где торговали вином. Вчера на стройке выдали получку, и деньги у меня были.

А в магазин завезли пиво. Его продавали из деревянной бочки. Сверху был ввинчен специальный кран, и пиво разливали в банки, бидоны. Мужики толпились, очередь была человек сорок. И вдруг меня осенило: «Вот он, момент искупления!» Почему «искупления»? А шут его знает! Но так я подумал тогда.

С трудом протолкавшись сквозь плотную железобетонную очередь («мужики, я только спросить, честное слово!») к продавщице, свирепой от внезапно навалившейся работы, я спросил:

– Если я бочку куплю – сколько стоит будет?

Та не поняла сначала, потом до нее дошло, что ей же меньше работы, она быстро посчитала, зарплаты моей хватило с лихвой и еще много осталось. Бочку по моей просьбе выкатили на площадь перед магазином («Ты только кран потом мне верни!» – строго и счастливо наказала продавщица), я громко крикнул: «Мужики, угощаю, наливайте, пейте даром!» Поняли не сразу, а когда поняли – пир пошел тут же, пить стали, не отходя, и по-новой становились в очередь. А я, довольный, со стороны наблюдал за всем. Даже желание выпить пропало: так стало мне хорошо.

Помаленьку бочка пустела, в толпе началось волнение. Стали друг друга отпихивать, ругаться начали. Я забеспокоился: «Мужики, да всем хватит, вы чего!» – и тут же получил в ухо. Обернувшись – передо мной стоял невысокого роста мужичонка, и борода у него была

– ежиком, напрасно Кононенко говорил – «так не бывает!» Всяко бывает. Мужичонка на меня злобно глядел и цедил сквозь зубы: «Провокатор! Я тебя, суку...» – и снова норовил дать мне в ухо.

Спас меня участковый. Видимо, его вызвала продавщица. Он подошел сразу ко мне, крепко взял под руку, отвел в сторону.

– Ты пиво купил?

Я кивнул.

– Пошли. Хулиганство оформлять будем.

...В «обезьяннике», куда обычно собирали алкашей и бомжей, я сначала долго не мог прийти в себя от такого поворота собственного сюжета.

А потом стал смеяться. Я понял, что многого в этой жизни еще не знаю. И не только потому, что ничему и никогда не учился – просто потому, что жизнь не вижу, хотя и смотрю на нее.

Я понял, что жизни, как любой науке, надо учиться. И я стал учиться жизни.

9.12.2015

БАБУШКА

Из цикла «Разное»

Бабушка собралась в поликлинику. Ее уже давно мучала одышка. Ее несколько раз обследовали в стационаре, наконец, поставили диагноз ИБС – ишемическая болезнь сердца – и отпустили с миром. С одышкой легла в больницу – с одышкой вернулась. Ничем ей не помогли, если не считать диагноза. Ну а диагноз – не лечение. Таблетки, что ей прописали при выписке, были – мертвому припарки. Получала она их по льготе, но если б еще помогали...

И вот она собралась в поликлинику, к участковому врачу, узнать – нельзя ли назначить такое лечение, которое бы помогло. И на всякий случай узнать – а может, никакая не ИБС у нее («ишемическая болезнь» бабушка выговорить, хоть убей, не могла, получалась какая-то «и...мическая»), а астма?

Стояла затяжная весна – холодная, хотя без дождей. Бабушка оделась тепло: на ноги – чуни, которые ей купила внучка, на себя – старое, «семисезонное», как она называла, пальто, повязалась платком, в руку – старую свою палку, и пошла. Палка эта досталась ей от отца, тому – от его отца, ее деда. Была она деревянная, суковатая, струганная и ошкуренная, покрыта темным лаком. Обычный сук, крепкий и надежный, как все старое.

Внучкина квартира, в которой теперь вместе с внучкой жила бабушка, была на первом этаже. Пять ступенек вниз, потом еще три

– с крыльца. Она спустилась, опираясь на палку, медленно пошла по улице, бережно лелея свою отдышку. Поликлиника находилась в трех кварталах, надо было идти немного в гору, эта гора для нее и служила настоящим подвигом. Одолела. Совершила подвиг. Она постояла на светофоре, отдышалась. Горел зеленый, но она не торопилась, отдыхала. Перешла улицу, потом еще одну – под прямым углом. Вот и поликлиника. Когда-то в этом доме располагался ружейный магазин, держал его один француз. Ничем не был магазин знаменит, кроме одного: здесь, отправляясь в царскую ссылку, в Шушенское, мировой вождь покупал себе ружье и припасы для охоты. Такая выпала ему ссылка.

На двери главного входа была прилеплена бумажка, на ней – печатными буквами: «Вход в поликлинику» – и стрелка налево. В поликлинике делали ремонт. Бабушка вздохнула, обошла здание, зашла с черного входа. Там на стене тоже висела бумажка – стрелка показывала вверх: «В регистратуру через 3 этаж». Бабушка немного посидела на стуле – позаботилась администрация, стулья поставила, – снова вздохнула и, опираясь на палку и цепляясь за поручень, стала подниматься. Заняло это много времени, она останавливалась через каждые три ступеньки, отдыхала на всех площадках, но сердце все равно стучало неровно. Наконец поднялась на третий этаж. И снова увидела табличку: «Регистратура – 2 этаж». Надо было пройти по всему замысловатому коридору, по широкой лестнице в два пролета спуститься на второй этаж, постоять в очереди в окошко, взять карточку и талон – и вернуться назад. Нужный кабинет находился на третьем.

Она испугалась: если спустится – уже не поднимется обратно. «Вот ведь пропасть... Знала бы, что ремонт, – не пошла бы. Что ж теперь – возвращаться?» Она подошла к кабинету участкового терапевта. Три человека сидели, ждали своей очереди. У всех были талончики с указанным временем. Бабушка заискивающе спросила: «Все сюда?» Ей не ответили, только посмотрели выразительно – куда ж еще? Кабинет-то один. Самая молодая не выдержала, кивнула:

– Сюда, бабушка. А у вас талон на какое время?

– Да нет у меня талона...

– Так ты, бабуля, сперва пойдешь в регистратуру да возьми талон, а потом спрашивай, – раздраженно сказал пожилой мужчина в спортивном костюме. – Без талона кто тебя примет-то?

Третья пациентка, женщина средних лет, не повернула головы, говорила по телефону.

Бабушка снова, в который уж раз, вздохнула.

– Если спущусь – обратно не поднимусь. Одышка, – пояснила она безнадежно и собралась уходить.

Девушка внезапно сжалилась:

– Ладно, бабушка, я тут вроде крайняя самая, идите передо мной.

– Спасибо, внучка, – бабушка благодарно посмотрела на нее, села на свободный стул.

Участковая была новая, принимала долго, время в талонах никак не отвечало тому, что она тратила на каждого больного. «Видать, основательная, не просто так – «откройте рот, закройте рот, дышите – не дышите». Старая-то – все по расписанию, и посмотреть толком не успеет, а уже кричит следующего», – думала бабушка про себя. Наконец очередь дошла. Девушка еще раз кивнула:

– Идите-идите! Только недолго, а то мне на работу надо вернуться.

– Я скоро, только лекарство спрошу, – заторопилась бабушка.

Она зашла, поздоровалась. Врачиха была молодая, чуть старше девушки в очереди. Она что-то писала, не поднимая головы, кивнула на стул:

– Минутку...

Отложила ручку, подняла на бабушку очки.

– Ну, на что жалуемся?

– Одышка меня донимает. Диагноз мне поставили – и...ми... ИБС, в общем.

Врачиха улыбнулась:

– Ишемическая болезнь, понятно. В вашем возрасте не редкость.

– А я думаю – не астма ли? Больно уж дышать тяжело.

Врачиха снова улыбнулась:

– Ставить сами себе диагноз мы все мастера. Ну что ж, давайте карточку, будем смотреть – чем вас лечили?

– Так не взяла я карточку.

Глаза за очками удивились:

– Как так? Ну, а как же я могу знать – что с вами делать? Я здесь недавно, вас не лечила, вы для меня – новый пациент. Что ж вы карточку-то не взяли? Как без нее?

– Так я же говорю – одышка, если вниз сойду – уже не поднимаюсь обратно...

Врачиха сняла очки, протерла их, постучала задумчиво очками по столу. Решительно встала.

– Ладно, ждите, я сейчас, – и вышла.

Девушка заглянула в кабинет:

– Бабуля, куда это она? Я ж так на работу из-за вас опоздаю.

Бабушка пожала плечами, виновато улыбнулась:

– Ничего не сказала, вышла – и все.

Минут через пять врачиха вернулась. Очки смотрели теперь строго, почти неприязненно.

– Нет вашей карточки в регистратуре, – сказала она, и в тоне ее слышалось открытое осуждение. – Что ж вы мне голову морочите? Я и на прежней работе с этим сталкивалась, и здесь уже. Вот так возьмут карточку, унесут домой, а потом приходят – и мы, как ищейки, бегаем по всей поликлинике, следы отыскиваем. Если уж домой унесли – что ж не взяли с собой-то?

– Не брала я карточку, – пыталась оправдываться бабушка, – я и была-то здесь не помню когда последний раз. – Вдруг сообразила: – Может, внучка взяла – да мне забыла сказать?

– Зачем же внучке ваша карточка? – снова удивилась врачиха.

– Ну, проконсультироваться с кем хотела, может. У нее знакомые врачи есть, а в карточке – выписка с диагнозом, лекарства...

Участковая смотрела на нее уже почти с ненавистью.

– Ну, вот что. Без карточки я с вами говорить не могу, я даже слушать вас сейчас не стану, – она кивнула на фонендоскоп, – вы все чужое время уже на себя забрали. Найдете карточку – при-

ходите, будем думать, что делать с вашей... одышкой. – И вдруг спросила: – Скажите, а сколько лет вам?

Бабушка замялась – она никак не могла запомнить свой возраст накрепко, каждый раз считала от рождения.

– Семьдесят семь, получается...

Врачиха наклонилась к ней всем корпусом:

– Так что же вы хотели?

Бабушка уже открыла рот, чтобы ответить – мол, лекарство хотела такое, чтобы помогало, – взглянула в очки – и вдруг поняла смысл вопроса. Встала, опираясь на палку, пошла к двери. У двери оглянулась:

– И правда, что я хочу? Когда же и быть одышке, как не теперь?

И добавила, уже открывая дверь кабинета:

– Пожить вот еще малость хотела. Но раз без карточки нельзя, что ж...

Домой она шла быстрее – и под горку было, и торопилась, думала: придет, позвонит внучке на работу, попеняет – что ж не сказала, что карточка у нее? Она бы и с дороги позвонила – вот беда: сотовый телефон ей внучка подарила, а пользоваться им она так и не научилась. Тыкала бестолково по кнопкам – попадала куда не надо. Ладно, позвонит из дома. И спохватилась: она ведь и сама внучку не предупредила, что к врачу собирается, не хотела беспокоить. Чего уж пенять...

Дома, отдышавшись у порога, прошла к себе. На телефонном аппарате красным мигал автоответчик – значит, пока ее не было, кто-то звонил домой и оставил сообщение. Как послушать автоответчик, она помнила. Бабушка нажала нужную кнопку, стала слушать. «Это с поликлиники звонят, с регистратуры. Я извиняюсь, мы нашли вашу карточку, она не в той ячейке лежала. Вернитесь в поликлинику, доктор вас ждет, она принимает до...»

Бабушка всхлипнула, но плакать не стала. Посидела молча. Потом сама себе пошевелила губами:

– Вот как... Нашли, значит, карточку... А я-то думала – внучка взяла, а мне не сказала...

24.05.2018



Автопортрет. Берёза, мрамор. 1991 г. 37x20x18 см

ДВА ВЕДРА ДИНОЗАВРОВ

Из цикла «Рассказы о чудесном»

Маленькая повесть

Чтобы все это вспомнить, мне нужно было приехать к нему домой спустя много лет после описываемых событий. Приехать, посидеть за столом, выпить какой-то дряни, послушать щебет его дуры-жены – тогдашней, потом они, к счастью, разошлись, и двое детей, которых успели родить, ко времени развода выросли и более или менее оперились. Но я больше слушал не

его жену, хотя она все время перебивала Липецкого, – слушал его, и это помогло мне вспомнить. Я был не один, со мной приехала моя половина, которая знала к тому времени о нем только понаслышке и по его скульптурам, и щебет этой дуры поверг мою половину в состояние почти обморочное. Она никак не могла сложить два и два: как такому таланту досталась такая... То есть у нее не получалось – два и два, получалась какая-то другая арифметика.

Но я слушал Липецкого – и вспоминал...

Однако – сначала.

Однажды мы с женой приехали к Липецкому в гости. Он загадочно и хитро на нас посмотрел – он это умеет, Липецкий, – сказал: «Пошли, покажу». Жил он с женой – тогдашней – и двумя еще не оперившимися детьми в трехкомнатной квартире. В одной из комнат, которая служила ему мастерской, стояли два больших эмалированных ведра, полных чего-то, – мы не разбирали, чего именно.

– Как думаете – что это? – пнул он ногой ведро.

– Не знаю... Ну, камушки... ракушки какие-то...

– Тупые вы, – удовлетворенно констатировал Липецкий. – Это – останки динозавров. Я нашел самое крупное из зарегистрированных в мире местонахождение останков динозавров.

– Где?! – наш дуэт был слегка с хрипотцой: офигели.

– Да тут, неподалеку... – Он посмотрел на нас как-то грустно.

– Этим я и занимаюсь последние годы: палеонтологией. Кроме скульптуры, конечно.

– погоди, Жора, – я от волнения стал, кажется, заикаться. – Ты расскажи толком – как нашел? Я же понимаю, ты не врешь, ты вообще никогда не врешь, и если сказал – самое крупное, значит – так и есть.

– Да просто все, – махнул рукой Липецкий. – Ну, сел на велик, поехал – и нашел. Знаешь у нас карьер в 30 километрах от Города, где щебень добывают? Ну, вот заехал в карьер, увидел подозрительный срез, копнул – и вот... Тут очень редкие экзем-

пляры, не редкие – что я говорю! – уникальные, не описанные.

Мы тупо устали на два ведра. Жена осторожно спросила:

– А как ты узнал, что это – динозавры?

– Да тут не только динозавры – вот смотри! – Липецкий нырнул рукой в ведро, выудил какую-то кривую косточку, показал: – Это вот – фрагмент задней лапки древней лягушки, животного вроде того, которое нашли в свое время американцы, – они ее называли Beelzebub. Но эта другая, та жила 70 миллионов лет назад, эта помоложе и не такая большая. Но главное – нигде она не описана, ее нигде больше не находили, я – первый!

Он не понял вопроса. Для него вопроса – как? – не существовало. Жена спросила еще раз:

– И все-таки – КАК ты это все увидел, как соотнес части друг с другом, как узнал, что вот это – лягушка, тем более нигде не описанная, а это вот – динозавр или еще какая-то... кракозябра? Как, Липецкий?!

Жора улыбнулся, беспомощно развел руками:

– Ну, откуда же я знаю. Как-то получается у меня...

И вот тогда мне захотелось рассказать жене историю, которую Липецкий долгие годы просил никому не рассказывать. Я все-таки выпросил у него разрешение – и рассказываю о том, что случилось много-много лет назад, когда все мы носили густые волосы и совсем еще редкие усы. Рассказываю, конечно, не только жене.

Пришел с огорода Липецкий, бросил на стол лук, огурцы, посмотрел на всех загадочно:

– В лес пойду. На три дня. Кто со мной?

Ответное молчание не было недоуменным. Оно было ленивым. Стояло лето, июль пылал жарой, какая в Сибири именно в этом месяце случается, хотя и не каждый год. Какой лес, куда идти? Зачем? Может, там и тень, в лесу-то, но – зачем?! Здесь вот – тоже тень, и холодное пиво, и магазин рядом, и вообще – двигаться неохота...

Римас так ему и сказал, Липецкому. Говорит, мы к тебе приехали отдохнуть, а ты – «в лес»...

– Так в лесу – самый отдых, тупые вы! – Липецкий был вообще-то обаятельным, но мог быть и грубым. – Вы – тупые, – с нажимом повторил он, – в лесу – самый отдых...

– Ты три дня там отдыхать будешь? Под соснами загорать, елками? – Ник свернул пробку бутылке минералки, залпом отхлебнул, закашлялся.

Заворочался Борис на раскладушке:

– Не, ну чо за проблемы-то? Спать мешаете. Щас бутылкой наверну по башке кому-то!

Борис любил вот так изъясняться – просто, по-уличному, выходило у него это мультяшно. Для высшего образования – очень уж искусственно. А он и не боялся выглядеть вот так – искусственно. Роль играл. И чтобы все видели, что он – роль играет.

Вздыхнул Липецкий, присел. Стал объяснять:

– Мужики, тут чего... Пошел на огород – нашел вот что, – он показал: наконечник стрелы, не то каменный, не то костяной. – Здесь, в этом районе, когда-то было древнее поселение. Но тут искать смысла нет – все уж перелопачено, понастроено, изрыто... Надо идти в лес. Я знаю примерно – куда.

– О как! – Ник удивился. – И откуда знаешь? Кто подсказал – древние люди?

– Неправильный вопрос! – это уже Борис. – А зачем искать-то? И что искать?

Липецкий опять вздохнул, глянул на молчащего Римаса, махнул рукой:

– Нет, ну какие вы все-таки... тупые! Вот правду Пушкин написал: «Мы ленивы и нелюбопытны...»

– А это Пушкин написал? – осторожно спросил окончательно проснувшийся Борис.

– Пушкин, – еще раз безнадежно махнул рукой Липецкий.

– Не, ну если Пушкин – тогда пошли! – сказал Борис.

– Куда пошли-то? – Римас жалобно на всех поглядел. – Не

хочу никуда идти! Хочу разлагаться! И пиво пить! И водку! И вообще – ничего не делать!

– А ты разлагайся, – сказал Борис. – Ты тут разлагайся, пока мы древние поселения ищем. Еду приготовишь, за водкой сбегаешь. Кто-то же должен остаться на хозяйстве...

Римас приподнялся от возмущения:

– Я – на хозяйстве?! А кто фотать вас будет, идиоты? Ладно уж, пошли все...

И они пошли.

Липецкий работает на подстанции электриком. Устроился, предъявив старые корочки, срок действия которых вышел давно, начальники сослепу не разобрали. Да и не хотели ничего разбирать: второй электрик нужен был дозарезу. Любой. Липецкий, когда приехал на место, понял, почему любой. От электрика тут ничего не зависит. Авария – он сидит и ждет аварийщиков. В остальное время – рубильник включить или выключить. А так – природа, красота, лес! Работают в смену, вдвоем, сутки дежурит один, сутки – другой. Ну, или как договорятся. Главное – чтобы на этом хозяйстве всегда кто-то был. Липецкий вообще-то скульптор. Пока непризнанный, но стремится. (И не зря: через несколько лет его признают и примут в Союз художников.) Он режет по дереву и лепит из глины.

Напарник его – и вовсе романтик, поэт, лирическая натура: сядет на крыльцо, уставится в небо – и шевелит губами: думает, сочиняет. Живут они в двухквартирном домике, квартиры – две комнаты и кухня, просторные, у обоих жены и мелкие дети. Детям есть где порезвиться, а женам – где поковыряться: двор, площадка, клумбочки-грядочки... Огород, хоть и маленький.

Сейчас вот Липецкий своих отправил на лето к родственникам – немедленно прикатили друзья из Города, который в 27 километрах от Поселка. В Поселке раньше был рудник, проходила железная дорога, потом рудник закрыли за неперспективность, дорога заросла травой, и приехать сюда можно на автобусе, который ходит раз в день, или на попутках. Попутных машин

много: через Поселок проходит дорога, по предгорью она ведет в соседнюю область. Движение достаточно оживленное, чтобы в любое время года поймать что-то до Поселка. Липецкий не против друзей, он, уехав из Города три года назад, по ним скучает. Здесь хоть и хорошо, хоть и природа, а все-таки скучно.

А вообще вокруг – лес, да что лес – тайга, пройти километров пять от Поселка – и тайга настоящая, книжно-киношная! Зверя хищного, правда, здесь мало кто встречал, но лоси точно ходят. Ну и растительность – местами дай бог продрасться, если хоженных троп не знаешь.

Липецкий знал здесь все тропы, за три года все исходил-истоптал, и там, где троп не было, он их сам пробил. Зимой – на лыжах, летом – пешком, с топором за поясом и рюкзаком за плечами. Не просто любопытства ради: искал интересное. И то, что пригодится потом для работы – деревяшки всякие, – и просто... интересное. С некоторых пор увлекся археологией, читал не просто запоем – выбирал те книги, которые написаны учеными авторитетами: им можно верить. Про эти вот места, где он живет, узнал: были здесь одни из самых древних человеческих поселений, и археологи знакомые из Питера подтвердили: были. Эти поселения они, питерские археологи, и искали как раз каждый год. Липецкий возбудился, даже во сне видел, как он что-то эдакое нашел в тайге – в коротком сне не разобрал, что именно нашел. Одно только разобрал: морщинистое лицо не то старика, не то старухи.

И вот случайно выкопал на крошечном своем огороде накопчик от стрелы. Сверил с книжками, чего-то высчитал – ну, вроде сходится. Решил: надо идти. Куда идти – так и не сказал друзьям. Потому что не знал сам – куда. Врал просто.

Шли хорошо. Хорошо было идти. Несмотря на жару и штиль (ветра не было совсем), лес жил активно: в кустах шуршало и попискивало, на ветках чирикало и свиристело, в воздухе порхало. Под ногами потрескивали сухие ветки, тропинка, то расширяясь и обозначаясь явственно, то вовсе пропадая в траве, вела

в глушь, в сердцевину. Впереди уверенно шагал Липецкий, за ним Борис, Ник. Позади, негромко и бесстрастно чертыхаясь то по-русски, то по-литовски, брел с фотокамерами Римас.

Римас был лучшим в Городе фотографом, это все знали, и у него поэтому не было отбоя от заказов. То есть он даже отбивался – и не мог отбиться. И когда друзья собрались оторваться на недельку к Липецкому, он с готовностью присоединился. Здесь-то его точно никто не достанет.

...Забыл я, совсем забыл – тоже мне, рассказчик! – забыл сказать главное-то: дело происходит в 1985 году, и не только о мобильных телефонах, но и о пейджерах еще никто слухом не слыхивал. Потому Римас и чувствовал себя в Поселке в безопасности, потому и хотел разлагаться и пить пиво: ноги его от бесконечных передвижений по Городу и так обросли лишней мускулатурой, и теперь он хотел дать им отдохнуть. Не пришлось.

Не дали, идиоты.

В общем, шли.

В лесу и правда было немного свежее, даже без ветра. Борис насвистывал песенку, повеселел. Он вообще легко переходил из одного состояния в другое, хотя сказать о нем – «легкий человек» – никак было нельзя. Переходы эти случались внезапно – и в любую сторону. Временами внезапно мрачнел, впадал в состояние, близкое к мизантропии, мог исчезнуть на несколько дней – и никто не знал, где он и что делает. Потом появлялся с опухшей физиономией – ясно, пил, – несколько дней валялся на общежитской кровати, уткнувшись носом в стену, ни с кем не разговаривая. Работал он от случая к случаю где попало, чаще не работал нигде.

Мизантропия проходила так же внезапно, как наступала. Вдруг вскакивал, зачем-то делал зарядку, брился, проявлял бурную деятельность – загонял всех сожителей по комнате на койки и драил до блеска неделями не мытый и не метенный пол. Потом садился за стол – и через пару часов выдавал очередной шедевр. Он писал стихи – странные, отрешенные какие-то. Но талантливые и завораживающие.

Выходишь с непокрытой головой,

Душа моя, Мария, Богородица.

Стоит декабрь, трещит мороз, как водится...

Где Твой покров? И где Младенец Твой?

Стихи, конечно, нигде не печатали, даже в местной районной газете. Они были пугающе чужими и ничему не созвучными. Но Борису это было все равно: он метил в гении.

Липецкий вдруг остановился. Встали и остальные.

– Чего? – спросил Борис.

– Сейчас, погоди... – Липецкий отошел в сторону, скрылся за кустами.

...На Липецкого снизошло. Внезапно, каким-то внутренним зрением он увидел все, что ждет их дальше. Сейчас они пройдут широкую низинку – весной здесь много воды, а прямо в воде растет молодая, жирная черемша, столько – хоть коси. Сейчас в низинке сухо, трава да кусты, хотя порой еще встречается та же черемша-переросток, с жесткой длинной стрелкой и такими же жесткими и уже почти несъедобными листьями. За низинкой начнется снова подъем, тропинка заберет вправо, в горку, потом они перевалят холм, снова спустятся – и там... сердце Липецкого встрепетулось. Там нужно остановиться, разбить бивак – и копать три дня, аккуратно, по периметру. Углубившись на метр-полтора, дальше копать и вовсе осторожно, буквально просеивая вынутый грунт. Там что-то было и что-то есть.

Он вернулся на тропинку.

– Пошли, – кивнул и зашагал.

Борис пожал плечами, пошел следом, за ним остальные. Римас опять равнодушно выругался.

За холмом Липецкий остановился, оглядел полянку, удовлетворенно кивнул сам себе – для стоянки место что надо, – скинул рюкзак.

– Все, пришли.

Борис опять пожал плечами: что-то он знает, этот чудака...

– Почему здесь? – спросил на всякий случай Ник.

– Откуда я знаю? Но знаю, что здесь.

Спорить не стали: притомились все изрядно, шли несколько часов, дело к вечеру, хотелось поесть и отдохнуть. Палатку с собой не брали – сложили из веток шалаш, сверху накрыли его полиэтиленом на случай дождя, полиэтилен закрепили веревками. На костре быстро сварганили ужин из консервов, заварили чай. Готовил Ник. Липецкий в это время что-то высматривал в кустах, вымерял что-то. Римас от нечего делать снимал природу.

Ужинал Липецкий нетерпеливо, поглядывая на небо в сторону заката. Отложил ложку, отхлебнул чай из кружки, подмигнул Нику:

– Чай с гренками?

Борис страдальчески застонал:

– Ник, скотина, ты опять туда головешку сунул?!

– А как же! – томно отозвался Ник. Его после еды разморило, он наслаждался покоем и лесом.

У Ника был свой особый способ заваривать чай в лесу. В костер он закладывал вместе с другими дровами непременно одно хвойное полено – лиственницу, ель – все равно. Когда котелок с водой закипал, он щедро всыпал в кипяток заварку, снимал котелок, вынимал рукавицей-верхонкой из костра хвойную головешку – и опускал ее на несколько секунд в чай. Затем накрывал котелок крышкой минут на десять. Чай получался по-особенному, по-лесному ароматный, с дымком, но была одна досадная деталь: в нем встречались угольки от головешки. Это не всем нравилось. Борису не нравилось.

– Ну, скотина и скотина! – констатировал Борис. Он собрался продолжить свою мысль – Ник молча встал, взял хвойную лапу, накрыл ею огромную литровую кружку Бориса, сквозь это импровизированное «ситечко» нацедил чай.

– Устроит? – протянул Борису кружку. Тот развел руками: принимается. – Ладно, мужики, хорош расслаживаться, пошли! – Липецкий встал.

– Куда опять? – насторожились все.

– Копать, куда же еще...

– Липецкий, да ты офонарел! – сказал Борис. – Мы шли полдня, устали, как собаки, дело к вечеру, уже семь часов – давай завтра начнем! Прямо с утра.

– Между прочим, после обильного ужина активные физические упражнения вредны, может заворот случиться, – подтвердил Ник. Ну совсем не хотелось ничего копать и вообще шевелиться.

Римас отрешенно, но согласно молчал. Липецкий вздохнул:

– Тогда я сам. Отдыхайте.

Он взял лопату, пошел к краю поляны. Борис посидел минуту, чертыхнулся, поднялся... Пошли и остальные.

...У меня в домашнем альбоме есть черно-белая фотография: три чумазых черта, голые по пояс, с улыбками до ушей, в кепках-панاماх, сделанных из газеты, с лопатами в руках и сигаретами в зубах. Не курил тогда только Липецкий – он и снимал. Борис стоит на краю ямы глубиной метра полтора; рядом, опершись на лопату, Римас, а из ямы выглядывает Ник (ну то есть – я, конечно), салютуя лопатой... Веселое было время, 85-й год прошлого века, начало перестройки. Апрельский пленум уже прошел, Горбачев уже сказал какие-то важные слова, и мы жили предвкушением. Мы ждали будущего, мы так стремились в него, так в него верили, в это будущее! И только Липецкому было все равно. Он существовал в другой реальности, вокруг него было давнее прошлое, и он охотно принимал его, и жил он – там, в этом давнем прошлом, а вовсе не здесь, не с нами, не в настоящем. Только мы тогда этого не понимали и потому вели себя по отношению к нему покровительственно. Чудаков на Руси всегда любили и жалели. Вот и мы – любили Липецкого и немного жалели – в душе.

Они копали два дня, не считая первого вечера. Липецкий уговаривал остаться еще на одну ночь, а уж потом, если ничего не найдут... За два дня ничего не нашли, хотя изрыли весь периметр, углубились на полтора метра, просеивали и внимательно

рассматривали грунт. То есть рассматривал Липецкий. Никаких признаков древнего поселения не находилось – ни осколков посуды, ни наконечников стрел, ни чего еще.

На третью ночь Нику приснился сон: из ямы вылез древний человек, похожий на картинку, на которых изображен питекантроп (или неандерталец?). Неандерталец (или питекантроп?) показал Нику язык и пошел в кусты мочиться. Он делал это долго, громко – так, что булькало и журчало, и еще почему-то оглушительно гремело. Ник проснулся. По полиэтилену, которым был укрыт шалаш, во всю мощь хлестал июльский ливень, сквозь крышу шалаша были видны молнии, гремел гром, а спальник тонул в воде. Проснулись все. Кое-как собрали сухое, уложили на единственном в шалаше избежавшем затопления бугорке, досидели до утра – о сне уже, конечно, никто и не помышлял. Утром ничего не оставалось, как собраться и шлепать по мокрой, размытой тропинке домой, в Поселок. Ливень чуть утих, но дождь не переставал и, кажется, не собирался прекращаться в ближайшую пару дней. Так нередко бывает после сильной многодневной жары.

Липецкий был угнетен и оттого угрюм, ни с кем не разговаривал. Ник бормотал на ходу складывавшуюся дурацкую песенку:

А вы не лезьте на рожон!

Вам Петька Кантропов нужен?

А я Неан по прозвищу Дерталец.

И он ушел, свистя в кулак.

Был третий день – и было так:

Мы пили водку крупными глотками...

– Мужики, идея! – заорал вдруг Ник. – Давайте водки купим.

– Тоже мне, оригинал! – хмыкнул Борис. – Конечно, купим.

Посмотри вон на

Липецкого – его ж, кроме водки, чем теперь отпаивать-то?

Купили водки, кое-какой закуски, пришли к Липецкому сушиться и налаживать настроение. Липецкий все так же угрюмо пошел на кухню ставить чайник. Римас включил телевизор – и замер.

– Ого! – сказал он негромко и отошел от экрана. На экране было: «Ю. В. Андропов. Страницы жизни».

Название и титры повисели немного – и начался фильм. Бархатный голос известного артиста произнес: «Это была последняя осень в его жизни...» Борис отставил бутылку.

– Слушайте, я не понимаю – что это? Это что – кино об Андропове?! Это новая эра наступает... такая? Это нам сейчас будут рассказывать, что он вовсе не был упырем, а был такой весь человечный, стихи писал лирические и вообще детей любил? Ничего себе, новая эра... Ну, Михаил Сергеевич, удружил...

...Вру, конечно. Стыдно, но вру. То есть потому и вру, что стыдно. Мы и правда в тот день неожиданно наткнулись на этот фильм и смотрели его, раскрыв рты, пили водку – и не пьянели. Нам-то казалось, что это как раз – прорыв, что это – торжество новой эры, какой-то знак, который нам подают из Кремля, что мы теперь точно будем жить по-другому, в условиях демократии и прочих достижений другого человечества. Почему?! Какая демократия могла ассоциироваться с Андроповым, с генсеком, который устраивал облавы на людей среди бела дня? Почему мы так думали, так воспринимали это событие? Наверное, потому, что было оно ни на что предыдущее не похоже. Фильм был очень прочувствованный, проникновенный, и ведь не о предшественнике Горбачева, о котором и сказать-то нечего, а об Андропове, человеке и правда многоплановом и непростом. Но и, к чести нашей и к моему утешению, не во всем мы ошиблись: все-таки некоторые основы самосознания, которое называют гражданским, некоторые прививки против того, чтобы принимать деспотизм и подчиняться ему безропотно, нам потом дали. Значит – что? Значит, правильная была наша реакция, правильно мы почувяли – и откуда, и куда ветер дует? И стыдиться, выходит, нечего... Да бог с ними, и с Горбачевым, и с Андроповым, и с прочими! Не о том моя повесть, просто уж так совпали эти события по времени, что никак не обойти одно, рассказывая о другом. Но больше не буду, все, на этом политическая подоплека кончилась, никаких больше параллелей, никаких аллюзий! Только

правда – и ничего, кроме правды. Лишь в одном от правды отступлю: не поднимается рука написать, что мы, то есть они, мои герои, все смотрели этот фильм с удовольствием, подъемом и верой в светлое будущее. Борис так не мог – уж такой образ я ему придумал, таким характером наделил.

Телевизор продолжал свою славную повесть.

...«Как-то раз на одном из подмосковных шоссе, – бархатный голос артиста располагал и завораживал, Борис скрипел зубами, – Юрий Владимирович попросил остановить машину на мосту через небольшую, малоприметную речку, из тех, что во множестве прячутся в лесах под Москвой. Вышел – и спустился к воде. Он любил ее тихое течение, когда кажется, что сама вода перелистывает страницы твоей жизни...»

Вода журчала не в телевизоре. Все оглянулись в сторону кухни. В дверях стоял Липецкий, смотрел вверх телевизора, шевелил губами и лил из чайника кипяток на пол.

– Жора, ты чего? – спросил Ник. – Ты в порядке?

Липецкий оглядел всех внимательно, перестал лить кипяток, поставил чайник на стол.

– Эх, – сказал он, и это прозвучало так, что все поняли: случилось горе. – Я – тупой. Дебил я.

– Ну, это понятно, – немедленно отозвался добрый Борис – ему наконец удалось справиться с бутылкой, он разливал водку. – Дальше.

– Да что – дальше... Вода, понимаешь? Смотри, чего на улице творится, дождь какой... Вода там сейчас все размочит, и как только дождь кончится – тут и надо идти искать...

Римас первым догадался, о чем речь:

– Знаешь, Жора, я тебя очень люблю, но – без меня. Там и без дождя-то было не очень, а после ливня и вовсе весело будет. Я – не идиот.

Ник с Борисом одновременно подняли руки: мы тоже пас. Липецкий еще раз внимательно на всех посмотрел.

– Да ладно. Тупые вы. Сам пойду. Один. Наливай.

Липецкий отправился утром, когда все еще спали. Он и рад был, что пошел один: никто не будет бухтеть за спиной и скептически скалиться в лицо. На этот раз идти было не так приятно: сапоги скользили по мокрой траве, тропинку размыло ливнем, приходилось обходить лужи, терять время. Он торопился, ему почему-то казалось – нужно как можно скорее попасть на место, чтобы... Чтобы – что? Он этого не знал. Но торопился.

Вот и поляна – и Липецкий в голос застонал от бессилья и собственной глупости. На поляне под ногами хлюпало, ямы, которые они выкопали в прошлый раз, были на треть полны воды, и что-то искать при таких условиях было, конечно, просто бессмысленно. Липецкий едва не плакал, причитал вслух:

– Ну почему я такой дебил? Ну ведь очевидно же, понятно же, что так и должно быть после сильного дождя! Кой черт меня дернул, что меня подкинуло? И что теперь делать? Прав все-таки Римас, он – не идиот. А я – идиот!

Назад, однако, идти не хотелось. Липецкий поставил палатку (на этот раз он взял с собой палатку – крошечную, на одного человека, внешним видом напоминавшую гробик), разложил костер, приготовил нехитрое варево. Закрыв глаза, попробовал прислушаться к внутреннему голосу – вдруг, как в прошлый раз, что-нибудь подскажет. Внутренний голос стыдливо молчал. Однажды он уже обманул Липецкого, подсунув ему эту бесплодную поляну, – что он, внутренний голос, мог теперь сказать в свое оправдание? Липецкий тоскливо огляделся. Ладно, раз уж пришел – что-то надо делать. Он взял лопату, поднялся...

Ничего он в тот день не нашел, хотя пытался снимать грунт и углубляться в разных местах. Получалось это трудно, земля была мокрая, липла на лопату. Ковырялся до вечера, устал смертельно, разжег костер, выпил чая – и завалился спать.

А ночью проснулся от ощущения присутствия. Он осторожно потянул «молнию» палатки, высунулся. У тлеющего костра, палкой помешивая угли, сидела сгорбленная фигура. Липецкий

нащупал лежавший под боком нож, медленно вылез из палатки. Фигура снова помешала в костре – тот вдруг лизнул темноту последним отчаянным языком пламени. Человек повернулся к Липецкому, отложил палку, встал. Лицо его осветилось – оно было морщинистым, старым. Именно это лицо не так давно видел Липецкий во сне. Но сейчас оно ему не снилось. Человек сделал несколько шагов навстречу, снова остановился. Теперь Липецкий разглядел: это была старуха, древняя и сухая. Хотя какие-то внешние признаки пола в ней начисто отсутствовали, он все-таки понял почему-то: старуха. Морщинистое лицо ее обрамляли седые космы, взятые в пучок, тело было укрыто чем-то, напоминавшим шкуры животных. Старуха издала несколько хриплых, гортанных звуков – Липецкий понял, что она сказала, и не удивился этому.

– Ты искал нас – ты нашел нас, – сказала старуха, махнула палкой в сторону кустов. – Пошли.

Они подошли к краю поляны, углубились в кустарник. «Сейчас клещей нацепляю!» – подумал вдруг Липецкий – и удивился своей мысли. Состояние его было странным. Он понимал, что все происходящее – бред воспаленного сознания, что он, возможно, просто спит, спит так глубоко, что воспринимает сон как явь, что ничего такого наяву быть не может. При этом он совершенно отчетливо видел в свете луны и поляну, и старуху, уверенно и крепко шагавшую через кусты, и кусты его ощути-мо царапали, ощущал легкий ночной ветерок, слышал ночные звуки... Вот звуки. Они были разные, непривычные, и по мере того как продирались они со старухой через кусты, звуки эти становились громче и отчетливей.

Старуха остановилась.

– Дальше не надо. Смотри, – она немного подвинулась. Липецкий взглянул в просвет между кустами. На соседней поляне, большой, метрах в ста от той, где стояла его палатка, в центре горел костер, вокруг сидели люди – как старуха, покрытые одеждой из шкур. В отдалении виднелись жилища, очертаниями

напоминавшие чумы. Липецкий наметанным глазом заметил: чумы были врыты в землю, на некотором расстоянии от них прокопаны канавы для отвода дождевой воды, снаружи чумы были покрыты шкурами. Люди сидели у костра, входили в чумы и выходили, что-то приносили и уносили. Липецкий задохнулся от восторга. Ему захотелось немедленно выйти на поляну, подойти к костру... Что дальше – он не знал, но это было и не важно. Старуха угадала его намерение, взяла костлявой рукой за плечо – Липецкому стало больно.

– Не ходи. Тебе нельзя. Мне – можно.

– Почему тебе можно, мне – нельзя? – он впервые подал голос, голос звучал глухо. Липецкий строил предложение коротко, невольно подражая старухе.

Старуха покачала головой.

– Меня не видно, давно нет. Ты – есть. Испугаются. Убьют. Враг.

Липецкому стало неудобно, он опасливо покосился сквозь кусты на поляну – и разглядел пирамиду из копий с острыми, тускло блестящими в лунном свете наконечниками – не то ко-стями, не то каменными.

Старуха снова взяла за руку, на этот раз за локоть, потянула назад.

– Посмотрел – иди.

Липецкий пошел обратно так же молча, как шел туда. Мысли путались – собственно, никаких мыслей не было, была пустота. И было недоумение. Он чувствовал себя так, как будто ему сквозь щелочку в театральном занавесе показали кусочек странного представления, суть которого он пытался уловить, но не сумел, и теперь эту щелочку закрыли, а объяснять ничего не хотят. И зачем ему это показали – он тоже не знал.

– Зачем показала это? – спросил он. – Почему мне?

– Тревожил меня. Думал громко. Приходил в мой сон.

– Тебя ведь нет?

Старуха посмотрела на него без выражения.

– Здесь – нет. Там – есть, – она никуда не показала, и непонятно было, где это – «там».

– Тебе – дано, – еще сказала старуха. – Я вижу вперед. Ты видишь назад. Будешь видеть. Будешь знать – где. – И подтолкнула его в сторону его костра, в сторону палатки: – Иди.

Она на мгновение приложила руку к его лбу – и Липецкий пропал. Больше он ничего не видел и не чувствовал.

Он проснулся от шума леса. Птицы орали над самой палаткой, немилосердно стрекотали кузнечики. Солнце прошивало палатку, как рентгеновские лучи: насквозь. Липецкий вылез, огляделся. Погода сменилась, небо заливала голубизна, верхушки деревьев осторожно трогал легкий ветерок. Судя по солнцу, было довольно рано. Он потрянул головой. Следов недосыпа – головной боли или чего-то подобного – ни малейших. Не умываясь, Липецкий направился в сторону кустов, через которые они проходили со старухой к соседней поляне. Подошел – и остановился. Кустарник стоял сплошной стеной по грудь, по краю рос колючий шиповник, и просто так пройти сквозь него не было никакой возможности. Как они прошли ночью, было совершенно непонятно. И на руках не осталось никаких следов, хотя кусты царапались, он и сейчас помнил это ощущение.

Липецкий почесал в затылке, вернулся за топориком, стал искать проход, прорубаясь через слишком уж густо разросшиеся кусты.

Пробился. Вот она, та поляна. Никаких следов людского пребывания здесь, конечно, нет – впрочем, он и не думал, что они есть. Липецкий спохватился, вернулся за лопатой, стал нетерпеливо копать. Копал долго, до обеда, в обед сбегал к палатке, едва перекусил сухой колбасой и хлебом – снова вернулся, снова копал. Наконец лопата уперлась в твердое. Сердце Липецкого екнуло. Оказалось, однако, просто кусок дерева, и не поймешь – то ли это остаток древнего жилища, то ли просто – деревяшка, и все. Дальше, однако, пошло: нашел пару наколочников, несколько каменных черепков – видимо, осколки по-

суды. Глубже и вширь копать было бессмысленно, он все равно ничего бы не понял, только навредить мог, теперь здесь нужны специалисты. Но душа Липецкого и так парила: внутренний голос не обманул, просто сознательно завел его не туда, потому что был не один, с товарищами.

Можно было возвращаться домой.

Липецкий обозначил место так, чтобы только он мог опознать, находки уложил в специально приготовленную на этот случай коробочку, собрал палатку, рюкзак, пошел в Поселок.

Конец зимы – нелепая пора.

Бегут снега. Уходит поколение.

Вот так и мы уйдем без сожаленья.

Когда-нибудь.

Не с вечера – с утра.

Нас станут звать – а мы не будем знать,

кричать затеют – мы не отзовемся...

– Нужна помощь зала, – сказал Борис, отвалившись от стола. – Рифма к глаголу «отзовемся».

– «Прорвемся», «разберемся», «оторвемся», «проснемся», – начал загибать пальцы Ник.

– Молодец! – ехидно скривился Борис. – Это все – глагольные рифмы, они мне зачем?

– Ну, чем богаты, – развел руками Ник.

Борис махнул рукой – и в это время вошел Липецкий.

– О! Явление Жоры народу! А мы думали – тебя откапывать надо уже, – Борис встал из-за стола, с любопытством разглядывал перепачканные грязью сапоги Липецкого и его довольную физиономию. Она-то, физиономия, и произвела на всех самое сильное впечатление. Она была не просто довольной, не просто сияла – она светила изнутри, как фонарь.

Липецкий секунду на всех глядел, потом сбросил рюкзак – и стал плясать. Плясать он не умел, поэтому просто ходил туда-сюда, перебирая ногами и разводя руками, и приседал.

– Слышь, Борь, – может, «скорую»? – спросил Ник, а Римас лихорадочно рвал из кофра фотоаппарат. Успел.

Липецкий наконец остановился. Развязал рюкзак, вынул заветную коробочку, подошел к столу, вытряхнул содержимое. Все это проделывал молча. Молча отошел в сторону, чтобы все могли полюбоваться.

Все полюбовались.

– Ну, и что это – может, объяснишь? – Борис уже почти злился. – Чего ты в шпионов-то играешь?

– Чай есть? – Липецкий налили себе чаю, сел, стал рассказывать обо всем, что с ним произошло в лесу. Старался рассказывать не спеша, но не получалось: распирало его уж очень.

Когда закончил, друзья смотрели на него примерно так, как он – на старуху минувшей ночью. Собственно, он и был теперь – пришельцем из другого мира, посланником. Делегатом. Первым нарушил молчание Римас.

– Я всегда знал, Липецкий, что ты – идиот, – задумчиво произнес он. И раздраженно пояснил в ответ на недоуменные взгляды: – Ты почему с собой фотоаппарат-то не взял, идиот?!

Липецкий виновато развел руками:

– Откуда я знал-то?..

И вдруг спохватился:

– Но вы мне... верите?

Борис только фыркнул.

– А как тебе не верить? Как можно не верить тому, кто никогда не врет?

Еще помолчали, переваривая рассказанное. Ник спросил:

– Ну, и что ты теперь с этим своим... знанием будешь делать?

– Это просто. Римас, ты помнишь – какого числа прилетают питерцы?

Римас встрепенулся, он понял. На днях должны были приехать знакомые питерские археологи, которые работали здесь вот уже несколько лет. Липецкий покажет им свои находки, ответит на место – ну, дальше понятно.

– Мужики, только просьба одна, – Липецкий посерьезнел. – Вот хоть на чае, хоть на водке – я сбегаю! – поклянитесь, что никогда и никому без моего ведома не расскажете о том, что я видел. – Помолчал и добавил тихо, будто про себя: – И что еще увижу.

Смысл последней фразы до них дошел спустя много лет. А сейчас...

– Никуда бегать-то не надо, – Римас достал початую бутылку водки...

Дальше события завертелись с невероятной скоростью – такой, что друзья Липецкого, вернувшись в Город, следить за ними не успевали, да из Города и не могли. Их и самих события завертели, судьба стали складываться, началась жизнь.

Римас так и остался лучшим в Городе фотографом, завел свой салон, не то чтобы процветает, но – при деле и не бедствует.

Борис нашел рифму к глаголу «отзовемся», но рифма все-таки оказалась глагольной, и он выбросил недописанное стихотворение. Зато сочинил множество других. Его вдруг, в один момент заметили коллеги-профессионалы и оценили, он стал сначала выступать с творческими вечерами и печататься в толстых литературных журналах, потом издал книжку, еще одну, вступил в Союз писателей и стал почти знаменитым.

Ник (то есть я, конечно) сделал карьеру в журналистике, немного позанимался политикой, но желание продолжать ею заниматься отбило однажды – и навсегда. Как-то раз, глядя в телевизор, он увидел нового премьер-министра, будущего преемника и президента России – и выронил то, что было в руках. На него смотрел своими маленькими, сведенными к переносице, глазками тот самый питекантроп (или неандерталец?), который однажды приснился. С той поры Ник к политике не прикасался.

С Липецким же дальше было так.

Приехали археологи, Липецкий показал им место, не вдаваясь в детали, они сомнительно покачали головами, но все же работу начали... Через пару дней к Липецкому в Поселок прибежал взмыленный, краснощекий, с реденькой бородкой Слесаренко, схватил его в охапку, стал кружить.

– Липецкий, ты – гений! – орал он, и дети смотрели на них из-за косяка испуганно-любопытно, а жена (та самая: дура) – в упор и сердито. Ей совсем не нужен был муж- гений. – Ты даже не понимаешь, что ты нашел, Липецкий! Мы тебя берем в соавторы статьи, которую сейчас Ромка пишет! Срочно пишет! Потому что это – почти сенсация!

Слесаренко преувеличивал, хотя находка действительно была редкой. Пожалуй, первой такой серьезной в этом районе. Они раскопали древнее поселение, хорошо сохранившееся, с местами отпавлений обрядов и местами захоронений, со множеством артефактов. Это было поселение эпохи верхнего палеолита, люди жили здесь 40–45 тысяч лет назад. Летом они обитали в жилищах, похожих на чумы, неглубоко вкапывая их в землю, чтобы ветром не сломало, и делая обводные канавы. Сверху чумы покрывали звериными шкурами (нутро Липецкого дрожало от восторга, когда Слесаренко ему все это рассказывал). Зимой же они закапывались метра на полтора-два в землю (Липецкий опять внутренне возликовал: он же знал, что надо копать именно эту глубину!), сверху делали навес наподобие крыши. А если находили в горах пещеры – селились на зиму в пещерах.

За короткий сезон питерские археологи сделали столько, сколько прежде не сумели за несколько лет. Они были готовы носить Липецкого на руках. Сам он несколько раз бывал на раскопе, видел все своими глазами – и все время вспоминал ту заветную ночь, соотносил увиденное теперь с тем, что наблюдал из-за кустов. Все сходилось, раскоп воспроизводил ту конфигурацию поселения, какой ее Липецкий видел, так сказать, вживую. Когда сезон закончился (главное – закончились отпущенные Институтом археологии бюджетные деньги), они все (было их четверо) приехали к Липецкому, закатали пир, сделали отвальную.

– На следующий год здесь закончим, будем искать новые объекты, – обняв Липецкого за плечи, делился руководитель группы Роман. – Может, ты нам опять поможешь?

Роман шутил, а Липецкий задумался. Он вспомнил слова старухи: «Тебе – дано. Будешь видеть. Будешь знать – где».

...И на следующий год история повторилась, и даже не скажешь – «повторилась внезапно». Липецкий бродил по сопкам в поисках интересного, вдруг остановился, прикрыл глаза... Сердце встрепенулось, как тогда, в лесу. Он спустился с сопки, опустился на колени, огляделся хищно, как волк. Здесь.

На следующий день пришел к Роману и Слесаренко – те как раз заканчивали раскопки на старом месте.

– Поехали, покажу – где копать надо.

Роман отмахнулся:

– Брось, Жора! Думаешь, один раз повезло – теперь всегда так будет?

Липецкий спорить не стал, просто предложил:

– Проверь.

На следующий день поехали... и остались. И разбили лагерь. И копали весь сезон. И снова Слесаренко душил Липецкого в объятиях и кружил в первобытном танце:

– Жора, ты гений!

Дети, радостно галдя, бегали за ними, а жена (та самая...) злобно наблюдала за этим от плиты, рискуя сжечь котлеты.

И так повторялось каждый год, много лет подряд. Приезжали в сезон археологи, говорили: «Липецкий, фас!» – и Липецкий показывал, где искать. Постепенно он стал знаменитостью – сначала местной, потом большой. Он никогда и никому не рассказывал, когда и как пришел к нему этот дар – видеть прошлое. Он его видел, и этого было достаточно. Он, собственно, и жил-то по-настоящему в этом прошлом, и даже скульптуры его были по-своему архаичны, ископаемы. В его абстрактных и полуабстрактных композициях не было ничего от реальной жизни – но в них была первобытная мощь, в них была мудрость, мудрость не человеческая, а та, которая даже не «от сохи»: от самой земли. Липецкого признали, он стал много выставляться, его приняли в Союз художников, ему дали трехкомнатную

квартиру в Городе, а еще через несколько лет присвоили звание почетного гражданина Города. И вот тогда с ним приключилось второе главное событие жизни.

Однажды Липецкий, оседлав основное свое средство передвижения – велосипед (теперь он жил в Городе, и привычки пришлось менять на городские), – изучал окрестности карьера, в котором много лет подряд добывали гравий для нужд многочисленныхстроек Города и не только: его везли и за пределы города, в соседние районы. Километрах в пяти от карьера, посреди степи высился курган. Когда-то давно археологи пытались его отработать, считая, что это – могильник, но ничего не нашли. Липецкий сошел с велосипеда, взобрался на курган, сел, прикрыл глаза... и понял – почему не нашли. Не там искали. Рядом с этим был еще один курган – невзрачный, малоприметный. Могильник находился там. Это тоже был верхний палеолит, только немного более поздний период. Липецкий сделал пометку на своей карте. Через месяц должны появиться Слесаренко с Романом, будет очередной сюрприз. Хотя они уже давно перестали относиться к этому как к сюрпризам, стали принимать как должное, и если бы вдруг вышла осечка – пожалуй, даже обиделись бы.

Но пока осечки не случалось.

Липецкий вдруг почувствовал непреодолимое желание прилечь и поспать. Он рано встал, он вообще старался поменьше находиться дома в то время, когда дома была жена. На его счастье, ее рабочий график занимал все будничные дни, и мукой смертной были только выходные. Сегодня был выходной. Стоял полдень, сухой и жгучий. Липецкий, торопясь, доехал на велосипеде до ближайшего куста боярышника – веки буквально слипались, – успел еще подивиться на так внезапно свалившуюся на него сонливость, рухнул под куст – и заснул мгновенно. Проснулся от ощущения присутствия. Открыл глаза – и сел. Сна как не бывало.

На него смотрела старуха – та самая, из древнего прошлого. Она сидела на корточках, ворошила своей суковатой палкой

траву, смотрела на него – и молчала. И он молчал, понимая, что сейчас произойдет что-то важное. Старуха наконец сказала:

– Ходишь к нам, тревожишь нас. Не кости – души. Тревожишь души. Не ходи.

Липецкий заволновался:

– Но ведь я – для науки, чтобы знали люди – как они раньше жили, кем были, откуда пришли...

– Откуда пришли – не знаешь. Мы не знаем. Никто не знает. Как жили – не знаешь. Думаешь, что знаешь.

– Но мы – ваше будущее! – воскликнул Липецкий. – Нам ведь важно знать – каким было наше прошлое.

– Прошлое – не ваше. Ваше – сегодня. Будущее – не наше. Не ходи. Не тревожь.

Старуха покачнулась, положила на мгновение ладонь Липецкому на лицо – он попытался еще что-то сказать, но провалился, пропал.

Очнулся от дождя. «Какой дождь, откуда?!» Когда он заснул, неистово сияло солнце и на небе ничего не было, кроме этого сияния и бесконечной голубизны. Теперь из серой пелены сочились капли – лениво, как будто кто-то их заставлял, как будто кто-то там, наверху, выжимал наполовину высохшую губку. Простиравшийся внизу гравийный карьер был заполнен туманом, туман колыбался в нем, как пена в ванне, и переплескивался через край. Вдруг Липецкий что-то увидел в этом тумане. Он подошел поближе к самому краю обрыва, где внизу, в нескольких десятках метров, простирался на много километров карьер. Он подошел, наклонился – и вдруг заорал от неожиданности. Перед его лицом из тумана вынырнула вдруг змеиная голова на тонкой шее и закачалась, горячо на него дыша и фыркая. Голова и шея были покрыты зеленой чешуей, как у рыбы, только толстой и крупной. Продолговатые змеиные глазки без ресниц смотрели на Липецкого не мигая. Они, кажется, гипнотизировали его, он не мог отойти от края, не мог двинуться. Голова стала приближаться, вот уже совсем близко – Липецкий раскрыл рот,

чтобы снова заорать, – и проснулся окончательно. По-прежнему светило солнце, чистое небо хоть и было голубым, но, казалось, целиком полыхало жаром.

– Вот черт возьми! – вслух сказал Липецкий, поднимаясь. От пота он был мокрый, как после душа, – потому и приснился сон про дождь. – Вот черт!.. И как теперь понять – что было явью, а что – сном?

Разбираться уже не стал. Сел на велосипед и поехал домой.

А когда через месяц приехали археологи, Липецкий повез их к месту, где, он был уверен, находится захоронение эпохи верхнего палеолита, – и не нашел это место. Они прочесали на «уазике», который выпросили у редактора местной газеты, весь участок степи, где находился отмеченный на карте курган, вдоль и поперек, но, как ни старались, как ни закрывал Липецкий глаза и как ни взывал ко внутреннему голосу и совести его, курган не нашли.

Слесаренко смотрел на него с жалостью, а Роман был откровенно разочарован и разозлен:

– Ты если не нашел ничего за это время – так и скажи, чего ты нам голову-то морочишь? У нас другие отмеченные участки есть – найдем чем заняться.

Роман тронул за плечо водителя, сказал:

– Давай домой, Семеныч.

Липецкий выглядел спокойным. То есть сначала он был расстроен, но очень скоро понял: старуха не приснилась и дар его отняла. Понял он и то, что на этом его археологическая эпопея закончилась.

В Городе Слесаренко робко попытался было позвать Липецкого на обед в кафе – Роман молча смотрел в сторону. Липецкий усмехнулся, пожал руку Слесаренко, кивнул Роману:

– Злиться перестанешь – заходи, водки выпьем!

Роман молча сплюнул в сторону. Роман любил четкость и конкретику, и если четкости и конкретики не было, он становился грубым. Липецкий ушел и больше тем летом с археологами не

встречался. Потом, позже, они, конечно, виделись и сживались снова за одним столом, у археологов случились другие научные подвиги и достижения, но уже без Липецкого.

А с Липецким тем летом приключилась еще одна история, которая, собственно, и сделала его таким, каким я его описал в самом начале.

Любопытство и слегка уязвленное самолюбие заставляли его снова и снова проезжать на велосипеде то злополучное место, где был курган. Но кургана не было, и Липецкий дивился этому обстоятельству. Однажды он подъехал к тому самому кусту боярышника, где в последний раз виделся с ископаемой старухой. Зачем? Ну, может, просто передохнуть в тени... Он не знал – зачем. Липецкий положил велосипед, подошел к краю обрыва. Обрыв оказался не таким уж крутым, как представлялось тогда – во сне, в тумане. Вдоль склона даже извивалась узкая тропинка, неизвестно кем протоптанная. Липецкий спустился вниз по тропинке, внимательно оглядел срез, сделанный экскаваторным ковшом. Что-то его в этом срезе заинтересовало. Он наклонился, копнул – просто рукой...

... – Вот этим я теперь и занимаюсь, не считая, конечно, скульптуры: палеонтологией, – Липецкий грустно улыбнулся нам. – Уже несколько статей написал. В соавторстве, конечно: я ж по-английски не знаю...

Жена его (та самая...) в этом месте громко фыркнула. Он посмотрел на нее скорбно.

Хорошо, что они потом разошлись.

Декабрь 2015 г.



Пейзаж с озером. Серпентинит, известняк. 2010 г. 18х24х7 см

*Евгению Пузыренко, моему другу,
подсказавшему этот сюжет*

У ВОДОПАДА

Из цикла «Разное»
Почти невыдуманная история

Про этот случай мне рассказал мой друг. История вышла не с ним, поэтому рассказывал он по памяти. Может, что-то упустил, а может, я чего-то не услышал или не запомнил. Это неважно. Запомнилось главное: яркая и убедительная иллюстрация

не слишком оригинальной мысли о бренности сущего и лишнее подтверждение того, что жизнь наша – стремительный росчерк на полотне мироздания, такой стремительный, что не всякому виден.

Впрочем, не стану забегать вперед.

Евгению Федоровичу Захарову позвонил старый приятель:

– Слушай, тут одна ненормальная компания, мои бывшие коллеги, попросила организовать им поход не куда-нибудь, а на Кинзелюкский водопад. Сможешь?

– О как! – Евгений присвистнул. – У них что – личный вертолетик имеется?

Говорю же – поход. То есть и вертолетик имеется, но решили – летят до подножия, а дальше – на своих двоих.

Захаров еще раз присвистнул.

– Ну, точно – ненормальные. Экстремалы!.. Хоть представляют, куда собираются? Я там был лет тридцать назад или больше, хорошо помню впечатления. Там по крутому склону карабкаться почти полкилометра. Места дикие, заповедные, ни малейшего намека на тропы. Хотя интересно, конечно. И красиво...

Приятель все это выслушал, спросил:

– Ну, берешься? Я ж потому к тебе и обратился, что ты там был.

Захаров махнул рукой:

– Берусь. Платежеспособны? Сдеру – мало не покажется!

– Об этом не беспокойся – сколько скажешь, столько заплатят.

Договорились в ближайшее время встретиться с группой ненормальных туристов, а Евгений Федорович пока восстановит в памяти – что там и как.

Уже шесть лет Захаров был на пенсии. До этого работал в бригаде монтажников, имел высший разряд по многим строительным специальностям, считался сварщиком-виртуозом. А еще слыл интеллектуалом – и среди коллег по бригаде, и в среде друзей. Последних было не так уж много, зато располагались

они в совершенно разных, порой неожиданных, слоях общества. Приятель, который позвонил, при советской власти служил в КГБ, пенсию начал оформлять в ФСК, а уволился уже из ФСБ.

Репутацию интеллектуала Евгений Федорович заслужил благодаря своей страсти к познанию всего, особенно к познанию непознаваемого. Он много читал, неплохо знал историю, часто раскапывал в редких книгах такие исторические факты и детали, о которых знали только сами авторы этих редких книг. А в молодости у Захарова была еще одна страсть: туризм. Самый активный член туристического клуба, он отправлялся в категорийные сплавы по горным рекам, ходил в горы, не гнушался и обычными пешеходными маршрутами. Его интересовало все: лес в любое время года, зеленые или, наоборот, белые вершины Саян, головокружительные кульбиты горных потоков на плато Путорана... В любой компании, в любой группе он был желанным участником: никто так, как он, мастерски не умел травить байки и рассказывать истории во время короткого дневного отдыха или ночевки.

Ему было интересно всюду. Но то, что произошло с ним тридцать два года назад, затмило все прочие впечатления и до сих пор звучало в душе щемящей, тревожной нотой, когда вспоминал. Это был поход на Кинзелюкский водопад.

Евгений Федорович не напрасно подивился отваге коллег своего приятеля, сотрудников службы безопасности. Кинзелюкский горный хребет, расположенный на юге Красноярского края, в высокогорной Тофаларии, считался во все времена местом труднодоступным, прежде туда добирались вообще единицы, теперь водят туристические группы, но и сегодня такие группы – штучны. Поход сложный, требующий не только навыков долгой изнурительной ходьбы под тяжелым рюкзаком, но и хотя бы минимального опыта сплава по горным рекам, подъема в горы по склонам, усыпанным огромными камнями, ночевки в палатках при самых разных метеоусловиях... ну и так далее. Достопримечательностей там много, но прежде всего манит это место

своим уникальным водопадом, вторым по величине в России. Впрочем, это так считается, что он – второй, наверняка никто не знает. Только в конце 80-х годов прошлого столетия путешественникам из Украины с помощью теодолита удалось измерить его длину – она оказалась равной 328 метрам. Другой водопад, что считается самым большим в России, Тальниковый на плато Путорана, никому пока измерить не удалось: если Кинзелюкский – труднодоступен, то к Тальниковому и вовсе не добраться без членовредительства. По слухам, длина его превышает 600 метров, но кому и когда удастся это проверить и удастся ли вообще, неизвестно.

Захаров вспоминал, как они небольшой группой в пять человек ходили на Кинзелюк тридцать два года назад. В то время даже не очень хорошие карты раздобыть было большой проблемой. Большая часть таких карт носила гриф «Секретно» или в лучшем случае ДСП, то есть «Для служебного пользования», и хранилась под замком. Выдавались они под строгую ответственность только наделенным специальными полномочиями лицам. Туристы в эту категория не входили.

Однако какие-то карты все же нашли, маршрут построили, группу собрали, выход зарегистрировали. Поход требовал немалых расходов, потому готовились к нему загодя: копили деньги...

Я не стану описывать ни трудности, ни красоты путешествия, случившегося у Евгения Федоровича три десятка лет назад. Я никогда не ходил в сложные маршруты, никогда не любовался вершинами Восточного Саяна как путешественник, не видел Кинзелюкского водопада. Мой рассказ – пересказ чужих слов, слов очевидца, и было бы нечестно самому домысливать и воображать. К тому же сегодня достоверных, документальных описаний тех мест можно найти в интернете немало. Ну и – главное: мой рассказ – не об этом, не о горных и иных красотах и мужестве преодолевающих трудности. Он – совсем о другом.

Шли долго, тяжело, были и вьючные лошади, и нанятые моторные лодки, и многокилометровые пешие переходы, казавшиеся

еся бесконечными, и местами отчаяние – спутник усталости и следствие неутомимых атак беспощадного таежного гнуса. И – пришли. Сначала увидели водопад снизу – он открылся неожиданно, заворожил. Защелкали фотоаппараты, в то время еще пленочные. Но цель была – забраться наверх, своими глазами увидеть Верхнее Кинзельюкское озеро, откуда и берет начало водопад. Евгений Федорович, тогда еще просто Женька, предупредил товарищей:

– Пленку поберегите. Думаю, главные красоты нас еще только ждут...

В этом походе он был руководителем, и его послушались.

Преодолев 400 с лишком метров почти отвесного склона, вышли наконец в цирк, расположенный у подножья Двуглавого пика. Вышли – и замерли. В бирюзовой воде Верхнего озера отражались вершины, на противоположном берегу к воде стремительно сбегали скальные отвесы, а зацепившись за них, на склонах лежал ледник или снежник – издалека было не разглядеть. Здесь и брал свое начало Кинзельюкский водопад, отсюда вода падала вниз и устремлялась в Нижнее Кинзельюкское озеро, дальше – по рекам Тофаларии. Дух захватывало от величия и – главное – первозданности картины. Так было здесь десятки, сотни, а то и тысячи лет назад, и осознание этого опьянило – так, что группа на несколько минут примолкла. А потом снова разом защелкали фотоаппараты.

Женька внезапно почувствовал, как его покидает напряжение, как взамен наваливается усталость. Он повалился на траву, прижался щекой к теплему камню. Рядом с камнем росла крошечная березка... Захаров вдруг понял – что в первый момент царапнуло сознание, как только они поднялись наверх. Перепад высоты по склону составил всего немногим больше 400 метров, но здесь, в цирке, наверху был уже другой климат. Если по берегу Нижнего озера и дальше, в долинах рек, растительность таежная, то здесь, скорее, похожа на альпийские луга. И вот эта березка – она не «подросток», как он сначала подумал, она – карликовая,

такие только в высокогорье растут. Почему-то это открытие его взволновало. Он повернулся к ребятам:

– Братцы, а вы понимаете, что мы с вами сейчас на высоте 1600 метров над уровнем моря? Хотя... я не об этом. Главное – мы в другой климатической зоне, понимаете? Вот мы только что там, внизу, – он махнул рукой в сторону водопада, – были в тайге, и вот они – альпийские луга! – Он обвел вокруг рукой... и вдруг замер, глядя куда-то мимо голов. Товарищи, кажется, не оценили его спич. Но приняли как повод.

– Женька, по этому поводу надо бы выпить. Не каждый год на Кинзельюк ходим, все-таки событие, – группа поддержала инициатора.

Захаров пружинисто встал, спокойно посмотрел на всех.

– Я не против, только давайте сделаем это внизу, ладно? Есть ощущение, что иначе мы со всей своей небогатой выпивкой станем кое для кого закуской, – он показал рукой вдоль берега.

В нескольких сотнях метров от них по берегу не спеша прохаживался медведь, явно держа курс на группу туристов. Даже на большом расстоянии размеры его казались внушительными.

Спускались без паники, но поспешно, подгоняемые адреналином. Уже снизу наблюдали, как хищный абориген подошел к краю скалы, внимательно посмотрел вслед туристам, издал звук, который, заглушаемый шумом водопада, больше походил на мычание коровы, чем на медвежий рык, и отправился восвояси.

На обратную дорогу ушла еще почти неделя. В Красноярск вернулись измотанные, грязные и обросшие, но счастливые на всю жизнь.

Встреча с группой энтузиастов состоялась у Евгения Федоровича через два дня. Они сидели в небольшом летнем кафе на берегу Енисея, пили – кто пиво, кто чай и, пока ждали главного инициатора похода, говорили о разном. Погода, футбол, пиво, качество жизни... Главный опоздал минут на пять, извинился. Участников было шестеро, Евгений Федорович – седьмой. При-

ятель тоже пришел на встречу с коллегами, но составить компанию на водопад категорически отказался.

– Не те годы, не то здоровье, – коротко и без улыбки отрезал он.

У Захарова было довольно времени, чтобы внимательно оглядеть каждого. Все – пенсионеры, но все – на десять, а то и пятнадцать лет младше него. Что ж, из органов на пенсию уходят раньше, чем из слесарей-монтажников. Все мужики крепкие, подтянутые, спортивные по виду. Главный (они его так и звали между собой – Главный) был, судя по всему, чуть старше и прежним чином, и возрастом, и держался как старший. Он и начал разговор о деле.

– Евгений Федорович, перед вами группа ненормальных чекистов-пенсионеров, которым шило в известном месте не дает сидеть дома, – он говорил бархатным баритоном, по нему явно плакала оперная сцена. – Ваш друг и наш коллега Борис уже рассказал нам о вас, пояснил – почему именно к вам обратился. Мы благодарны, что вы не отказались стать нашим проводником. В такой поход можно идти только с опытным человеком.

Захаров ответил:

– Ну, опыт мой – тридцатилетней давности, возможно, чего-то уже и не помню. А потом, вы же, как мне Боря сказал, на вертолете туда хотите лететь? – Главный согласно кивнул. – Тогда хлопоты проводника и вовсе к нулю сводятся.

Приятель сделал круглые глаза. «Это ты вот так собираешься деньги зарабатывать?! А еще говорил: «Сдеру – мало не покажется». Ну, брат, ты даешь!» Он этого не сказал, но это ясно читалось в его взгляде.

Захаров спокойно продолжал:

– Они сводятся к формальной ответственности, которую кто-то должен на себя взять. Поскольку я действительно имею некоторый опыт вождения группы, имею разные спортивные разряды, совершенно естественно, что я и должен выступить в этой роли. Это, собственно, и составляет основную долю оплаты моих услуг.

Главный вставил:

– О деньгах я хотел поговорить чуть позже, но продолжайте.

– Хорошо, о них позже. Еще – о роли проводника. У меня сохранились карты, которыми мы пользовались тридцать лет назад, но я понимаю, что цена им сегодня – грош. У вас наверняка есть современные и электронные, и бумажные, и бог знает какие еще карты, не моим чета, недаром вы те, о ком говорят: «Чекистов бывших не бывает».

Никто не улыбнулся его шутке. Он внутренне поежился, но продолжил дальше:

– Вертолет спокойно доставит нашу группу к подножью Кинзельюка, высадит на берегу Нижнего озера, оттуда вверх – немногим более 400 метров. Склон крутой, но не непроходимый. По моим наблюдениям, все вы в хорошей, вполне спортивной форме, и восхождение проблемы не составит. Ну, вот разве что меня немного одышка помучает, но и это терпимо. Как подниматься, вы тоже наверняка уже знаете, в интернете свидетельств и подробнейших описаний полно... – Он помолчал и, обведя взглядом присутствующих, тихо и внушительно произнес: – Господа офицеры, на фиг я вам нужен-то?

Повисла неловкая пауза. Борис безнадежно водил пальцем по столу, не глядя на Захарова. Главный вздохнул, хотел что-то ответить – Евгений Федорович его опередил, подняв руку:

– Не спешите. Давайте я сам скажу. И если скажу неправильно – немедленно уйду. Но я скажу правильно. По своему опыту вождения туристических групп я отчетливо помню: в дальних и сложных походах очень хорошо, когда в группе есть некий... назовем его – центр психологической разгрузки. Это человек, способный не впасть в уныние при любых трудностях, любых неожиданностях, способный часами травить анекдоты и истории из жизни. Это снимает агрессивное состояние, недовольство друг другом, отвлекает от неудач... Борис мне не говорил, но я предполагаю, что группа ненормальных чекистов-пенсионеров не удовольствуется и не ограничится тем, чтобы слетать

на денек-другой в заповедное место, по дороге обратно в вертолете хлопнуть водки и вернуться. Наверняка есть в планах и другие достопримечательности, которыми просто грех пренебрегать, располагая временем и деньгами: озеро Медвежье, ледник Кусургашева... Опять же, Борис мне об этом ничего не сказал, но я предполагаю, что меня он рекомендовал как такого человека, о котором я сказал только что, – как балагура и штатного неунывайку.

Захаров снова помолчал. Чекисты ждали, переводя тревожные взгляды с него на Главного. У того на лице не было никаких эмоций. Борис смотрел куда-то в сторону.

– Ну, так вот, резюмирую. Если я изложил все правильно, то... Григорий Павлович, – он обратился к Главному, – это – вторая статья ваших расходов на мое содержание. Ну, еще немного возьму за то, что все-таки покажу вам – на какие камни наступать можно, а на какие – не стоит.

Молчание длилось недолго. Первым захохотал своим бархатым баритоном Главный, которого звали Григорий Павлович. Грохнули и остальные.

– Ну, развел ты нас, Евгений Федорович! – отсмеявшись, сказал Главный. – Прямо профессионально развел! Артист!

– Это была презентация, – сказал Захаров, и все снова засмеялись.

– Мне твоя презентация сейчас новых седых волос стоила, – укоризненно произнес Борис. – Ну, думаю, сделал друзьям подарок! Чуть со стыда не сгорел. Гад ты, Женька.

И всегда таким был. За то и люблю!

Через несколько дней арендованный вертолет доставил группу к подножию Кинзелюкского хребта. Прилететь за туристами он должен был через неделю. Связь условились держать по рации – сотовые операторы в такой глуши не работали. Базовый лагерь разбили на берегу Нижнего Кинзелюкского озера. Полюбовались на водопад снизу, символически выпили, обозначив на-

чало приключения, и завалились спать до утра. 500 километров в воздухе, в шумном вертолете, к особой активности в этот вечер не располагали.

Евгений Федорович, которого группа безоговорочно признала своим руководителем, поднял всех на рассвете. Это не составило труда: чекисты, даже отставные, не привыкли баловать себя лишним сном. В лагере оставили все, что не понадобится при восхождении, – разорить лагерь некому, разве что мишка придет... Понадеялись, что этого не случится. Еще перед вылетом, в Красноярске, когда определяли список необходимого снаряжения, Захаров предупредил: оружие взять необходимо, зверь здесь может оказаться – он рассказал о медведе, которого они видели на водопаде тридцать лет назад, – но стрелять только в воздух, пугать, и уж в самом крайнем случае – на поражение.

– Мы не на охоту едем, Евгений Федорович, за это можешь не переживать, – заверил Главный.

К Верхнему озеру поднялись без особых проблем. Захаров с удовольствием открыл, что очень хорошо помнит маршрут, по которому они поднимались когда-то впервые, что маршрут этот практически остался неизменным, новых камней не насыпало, разве что самую малость, и кустарник гуще не стал. Вышли наверх – и он не смог сдержать восторга. Все та же бирюза озера, те же сбегające к воде скальные отвесы и ледник или снежник – он остался прежним, даже контур не поменялся. Он молчал, чтобы не выдать волнения. Остальные члены группы восхищались бурно.

– Григорий Павлович, может, отсалютуем? – предложил кто-то.

Захаров тревожно посмотрел на Главного. Тот успокаивающе покачал головой:

– Ну что вы, зачем? Здесь так хорошо, так тихо, а вы – из ружья палить...

Евгений Федорович благодарно улыбнулся ему – и завалился на траву. Обнял теплый камень, прижался к нему щекой... и увидел рядом карликовую березку. Захаров задохнулся. «Господи! Да ведь это – тот самый камень, та самая березка!» Он

встал на колени, потянулся к березке... и вдруг его пронзила мысль. «Как?! Как это может быть?! Прошло тридцать два года! Я постарел, я уже шесть лет получаю пенсию – и никто не знает, сколько мне еще осталось получать, но вряд ли долго. За то время, что я здесь был, я успел трижды жениться, родил двоих детей, нянчу внука, у меня умерло столько друзей, что всех и не сразу вспомню... А эта березка – она за эти три десятка лет подросла сантиметров на десять-двенадцать. Как?! Господи... Кто же мы перед этим ледником или снежником, что за тридцать лет не только не растаял – даже очертаний не поменял, кто мы перед этой березкой? Кто мы – перед вечностью?!»

Он, кажется, бормотал уже почти вслух, и его состояние не осталось незамеченным. Главный подошел к нему, встревожено наклонился:

– Евгений Федорович, тебе помочь? Тебе нехорошо? Сердце, может?

Захаров встал.

– Нет-нет, все хорошо... Старую приятельницу встретил, представляешь? – он кивнул на березку, хотел рассказать – и почувствовал: не сможет. Не сейчас. Махнул рукой: – Я потом расскажу, ладно? Вы тут пока погуляйте вдоль озера, пофотографируйте, я здесь побуду. Только не разбредайтесь – мало ли что... Спуск через час.

...Вечером у костра обменивались впечатлениями, достав заветные фляжки. В группе нашелся один прирожденный кулинар, из говяжьей тушенки умудрился сочинить мясо в кисло-сладком соусе по-еврейски. Наконец трапеза закончилась, водка и коньяк разогнали кровь. Главный обратился к Захарову:

– Евгений Федорович, может, расскажешь историю, как обещал?

Тот отложил ложку, протянул кружку на разлив:

– Как говорил известный персонаж народного писателя, прошу плеснуть. – Подождал, пока кружка вернется. – Ну, слушайте.

Слушали, не перебивая, только изредка подбрасывали дров в костер и подливали спиртного.

– ...И вот, понимаете, сегодня я снова встретил ту же березку – а она не изменилась! Я за время, прошедшее с первой нашей встречи, постарел, поседел, заработал гипертонию, получил кучу грамот, объехал полсвета, сменил трех жен... а она в росте прибавила всего сантиметров десять! Я на участке у себя сосну посадил лет пятнадцать назад – так она пол-участка заняла уже и дальше растет. А эта – десять сантиметров...

– Чему же удивляться, Евгений Федорович? – осторожно спросил кто-то. – Она же – карликовая...

– Карликовая... – повторил Захаров и усмехнулся. – Нет, братцы, это мы, это наша жизнь – карликовая. Жизнь наша проходит, кончится скоро, а у нее еще столько впереди... – И повторил, теперь уже вслух: – Кто мы перед этой березкой, перед ледником этим? Кто мы – перед вечностью?..

– И перед Ним, – тихо закончил Главный.

Захаров замолчал, уставился в костер. Один из чекистов протянул разочарованно:

– Ну, вот... А говорили – «балагур»...

Главный посмотрел на него осуждающе:

– Такая история целого представления стоит. Захаров услышал, встряхнулся.

– Ничего, я вас еще повеселю. Будет еще время. Плесни-ка!

И он повеселил, и было время. Все вышло, как намечали, все закончилось благополучно и счастливо. Туристы вернулись домой тем же вертолетом, тепло распрощались с Евгением Федоровичем.

О них он помнил недолго. А та березка долго сидела в памяти, да и теперь еще сидит, хотя прошло уже почти пять лет. И моему другу эту историю Евгений Федорович Захаров поведал совсем недавно.

– И понял я: жизнь наша – стремительный росчерк на плотне мироздания, – так теперь заканчивал он свой рассказ. – Такой стремительный, что не всякий и разглядит.

19.04.2017

Уходит друг. И нам себя не жаль.
 Нам не впервой – с друзьями разминуться.
 Нам до него уже не дотянуться.
 Ни плечи стиснуть. Ни руки пожать.

Уже не боль, а лишь ее фантом.
 Уже не крик, а только шепот ветра.
 И серый снег. Раскрошенный бетон.
 И пепел той – последней – сигареты.

08.12.2018

Андрею Антоненко

Я вновь вспоминаю родные места:
 но эти – не эти, и эта – не та...
 И сам я – из странной какой-то страны,
 и брюки – не брюки на мне, а штаны,
 и коротки здесь, там – длинны...

Меняется все. И меняемся мы.
 И валенки прежде нам были – пимы.
 И мама жила, и, воюя с отцом,
 ладони вздымала над мокрым лицом,
 ругая отца – подлецом.

Теперь – ни отца и ни мамы. Увы.
 Теперь к моим детям уж кто-то – на «вы»,
 и бабушка я иль не бабушка я,
 не знаю я вовсе о том ничего.
 Не знаю о том ничего.
 И вновь вспоминаю родные места:

закуска все та же – да водка не та.
 И кажется – вкусно, а все же – держись! –
 как выпил – как будто бы прожил всю жизнь
 (прожИл? или прОжил? как правильно-то?
 Уже не узнает об этом никто...
 Язык – для языканных. Так ли, мой друг?
 Все меньше таких. И все уже их круг.
 Зато – и изысканней круг.)

А я вспоминаю родные места.
 И эти – не эти. А эта – не та.
 «Но есть ведь другие!»
 Да, есть. Но – увы:
 другие – иные, и эти – не вы.

И всем не сносить головы.

11.02.2008

*Пусть я преступник, если преступно
 День растворить в вашем черном подъезде,
 Если б ступенькою стать ваших лестниц –
 Пусть я преступник!
 Андрей Антоненко*

Пусть я преступник, если дано
 в прошлое выкрутить веретено,
 так размотать, чтоб в глазах потемнело!
 Пусть я преступник! Что же за дело?

Время спешит, как любовник на случай.
 Поздно! Часы наизнанку не ходят.
 Кто нас заставит поверить, что лучше
 прошлое, где нас хлестали поводья?

Где мы ходили втроем или парой,
где мы читали стихи науслышку...
Кто нас заставит поверить, что даром
было дано, что даровано свыше?

Пусть я преступник, плач твой о прошлом
если услышу – и смехом отвечу.
Пусть я преступник, если опошлю
память о давнем, о том – человеческом...

Солнце срывается вниз, как тарелка,
бьется, осколками режет живое.
Знаешь, теперь до обидного редко
я замираю, припомнив бывшее.

Пусть я преступник, если преступно
жизнь растворить в той немой общаге,
где наши перья скрипели ночами, –
пусть я преступник.

04.10.2019



Поклон. Серпентинит, гранит. 2015 г. 20х23х11 см

ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ГАНДКИНА

I

Ну вот и попрощались.
Не плакать не могли.
Протяжно и печально
кричали журавли
и к югу улетаели,
вколачивая клин
в березовое небо.

Стоял сентябрь, и ветер
хозяйничал вокруг.
И было странно верить,
что это ты, мой друг.
И странно было видеть,
как на краю могил

стояли мы, глазами
растерянно вода.
И мир так странно замер.
И не было дождя,
что собирался утром.

И стало странно жить.

Сентябрь 2009 г.

II

Друг мой милый! Прости меня. Слышишь?
Клином сходится белый свет.
Снег октябрьский ложится на крыши,
пять минут – и его уже нет.

Грустно – глядя в просторное небо,
вспоминать журавлиный клин.
Бледный месяц уставится слепо
на ограду берез и осин.

Я не знаю, какая нам доля.
Может, как-нибудь улетим
журавлями в осенние дали
над тобой, одиноким.
Прости.

III

16.10.2017

Я всплакну над бездомною кошкой,
погрущу над растерзанной птицей.
В жизни ценного – кошка наплакала, птица склевала.
Бродят люди по желтым тропинкам.
Чистят вороны черные перья.
Ходит по небу облако цвета девятого вала.

Не устроить нам жизнь по-другому.
Не воскреснуть растерзанной птице.
И бездомную кошку затравят породистой псиной.
Пахнет осень студеной водою,
пахнет завтрашним снегом каленым,
и березой беспомощной пахнет, и прелой осинкой.

Я укрою заблудшую кошку.
Я устрою кормушку для птицы,
чтобы кошка наплакать смогла то, что птица склевала б.
Мы блуждаем по диким дорожкам,
утираем счастливые лица.
Смотрит осень нам вслед и цветным шелестит покрывалом.

16.10.2017

IV

К 13 сентября

Вот опять не соврал календарь.
Вот и снова – две сросшихся цифры.
Над строкой стихотворного цикла –
как печать – приговор: «Никогда».

Десять лет... Как струятся года,
друг мой, брат мой – по вере, по духу.
Был сентябрь. Было ветрено, сухо.
Так не будет уже. Никогда.

Дождь сентябрьский полощет листву.
Под рукою – раскрытый Овидий.
Как мне быть? Я пока поживу.
Ну, а дальше... а дальше – увидим.

10.09.2019



Поэт. Кварцит, кедр. 1990 г. 50х20х12 см

ПОЭМА В СЛЕЗАХ

Конспект чужой биографии

ПРОЛОГ

Ни назначая ни причин, ни адресата,
приходят звуки – и рождается глагол.
Как будто грома затаенные раскаты,
как будто колокола отдаленный гул.

Еще неясный, словно шелест вдохновенья.
Еще случайный, как сквозняк по вечерам.
Глагол рождается, и в этом нет сомненья,
и за собой ведет.
Так вводят в храм

слепых и немощных, страдания бегущих,
бредущих с посохом на клик, на Божий глас.
...Поэт – слуга глаголу. Что ему присуще?
Перо макать в живое – и писать для вас.

Когда нахлынет – сколько ни скули,
как ни пытайся убежать от темы, –
Пегас заставит разложить тетрадь,
копытом выбьет первый стих поэмы.

Сюжет горчит, как недозрелый плод,
и не спешит себе повиноваться.
Но прост сюжет. Прозрачен, как стекло.
Любили двое. Им пришлось расстаться.

Они любили, но любовь была
молниеносной. Или скороспелой.

Они расстались. Порознь жизнь пошла.
Сюжет банален? Да. Ну, что же делать...

Жизнь не стремится свиться в креатив.
Прочтите вслух – и, может, на минуту
вам уловить удастся сквозь дремоту:
глагол рожден! Рождается мотив.
Они друг с другом – об руку, рядом.
И я – за ними, темой влеком.

I

«Условимся: начало нашей встречи
не будет окончанию равно».
Шел мокрый снег. Кончался стылый вечер.
Кончался год.
Все было решено.

«Жизнь удалась, но скука неслучайна.
Я уезжаю. Собран чемодан».
Под фонарем кривая тень качалась.
Кончался год.
Сходились поезда.

Она молчала. Смешивались тени.
Он закурил. Раскачивался дым.
«На всем – печать усталости и лени, –
подумал он. – И времени следы...»

Вдали вокзал чернел, мешая звуки.
Он подхватил тяжелый чемодан:
«Ну все, прощай».
В карманы спрятав руки,
она пошла. Холодная звезда
ее вела.

Входила ночь без спроса.
В тени домов не видно было слез.
Год уходил.
В бордюр уткнул колеса
автомобиль: «Подбросить? Я б подвез.

Без денег, так. Нам по пути, похоже?»
Она вздохнула: «Вот мое окно.
Я здесь живу».
Он протянул: «Ну, что же...
Спокойной ночи. И хороших снов!» –

и укатил, сердясь.
Она устало
на циферблат взглянула: «Час – как год...
Но надо жить!» Ей к дому пять кварталов
еще идти.
Ну, пусть себе идет.

II

На большом перегоне
ровен поезда бег.
А в купейном вагоне
говорят о судьбе.

О злодейке и стерве,
о своей и чужой.
Неумело консервы
открывают ножом.

– Мне в Тайге пересадка
и до Томска – часы...

– Я по мужу – Горбатко,
а по знаку – Весы.

– В Томске – дочка и внучек.
Зять их бросил, мизгирь.
– Муж уехал, соскучив.
Надоела Сибирь.

– Жили – радостно глазу.
Внучек рос женихом.
– Сам-то родом с Кавказу,
несмотря что хохол.

– Мы считали: к молодке, –
нет, живет бобылем.
– Как уехал – ни фотки
никогда не пошлет...

– Внук ступил на кривую,
вот и еду на суд.
Пусть мою трудовую
в протокол занесут.

– И живу, как солдатка –
жив ли, то ли пропал?
Потому мне не сладко,
что с собой не позвал.

Помолчали. Консервы
пожевали, устав.
Шел по ночи, по нервам
пассажирский состав.

III

Он спрыгнул с полки.
 Две его попутчицы
 жевали сайру, судьбы теребя.
 – Садитесь с нами!
 «С вами не получится!»
 хотел сказать. Но удержал себя.

– Да нет, спасибо, я отвык от ужина.
 Я покурю. – Он вышел покурить.
 Мотало тамбур.
 «Чувства их – обужены
 и примитивны. Не с кем говорить».

Мотало тамбур. «Все давно изучено.
 Ты видишь чашу – думаешь: сады.
 Стремись к стрелю – увлечет излучина...»
 Он затаился. Закачался дым.

Он усмехнулся: «Как в момент прощания,
 когда фонарь послушно тень качал...
 На всем – следы усталости от тшания, –
 подумал он. – И времени печать.

Где мой причал? Не проплыву ли мимо я?
 Оставил все. Что обрету? И как?»
 Он шел в купе. Над ним плыла, незримая,
 тоска такая... странная тоска.

IV

В дверь позвонили.
 – Кто там?
 – Новый год.

– Ну, как же можно без предупреждения!
 Я не одета, в доме кавардак,
 и ничего не собрано на ужин!
 Сейчас, минутку... Боже, что несусь!
 Как может год ждать целую минуту!..

Она проснулась. Сон катился вслед.
 Звонили в дверь. Накинула халатик,
 спросила:
 – Кто?
 – Вам телеграмма.
 – Что?!
 – Вам телеграмма!
 – Что за телеграмма?
 – Прочесть?
 – Прочтите.
 – Что ж, сейчас прочту:
 «Жизнь удалась, но скука неслучайна...»

Она проснулась. Влажною рукой отерла лоб.
 Звонили в дверь.
 «О Боже!
 Теперь не сон, надеюсь!» Пел звонок.
 Курьер стоял, держа в объятьях елку,
 спеленатую пленкой. Проворчал:
 – Звоню-звоню – как умерли, ей-богу!
 Я ж говорил: с утра – сначала к вам,
 потом – к другим. Теряю с вами время!
 Вот, распишитесь. Нет, не тут – вот здесь! –
 И улыбнулся: – Елочка – что надо!
 Еще вчера в лесу она росла!»
 Она черкнула, протянула руки –
 пропал курьер, и елка в лес сбежала!

Она проснулась.
Свет не бил в окно.
Стояла ночь. Звонок молчал над дверью.
И Новый год еще не подошел
так близко, чтоб о нем хотелось помнить.

V

Елку наряжала – и пела.
На стволе смола слезой кипела.

ПЕСНЯ

*Влажный блеск зеленой чешуи,
лампочек оранжевые нимбы.
Елка, словно пойманная рыба,
тихо плавниками шевелит.
Так и ты: запуталась в сети –
не уплыть, не скрыться, не уйти.*

*Пихта на тебя глядит с укором:
«Что ж ты плачешь в Новый год одна?
Все грустишь о призраке, который
не связал тебя, но спеленал?
Нацеди вина в литой хрусталь.
Что грустить о том, чему не стать?»*

*Ветер белый снег взбивает в пену.
Пляшет новогодний снеговой
и трубит о скорых переменах.
Ты послушай. Ты ему поверь.
Боль, что пастухом твоим была,
он смахнет, как крошки со стола.*

Новый год, и цитрусовый запах,

*мандаринов детские бока.
Пихта держит шар в зеленых лапах.
Дотянись, придвинь к нему бокал.
Отраженье плавится в стекле.
Это твой полночный сомелье.*

*Все прошло, чему должно проститься.
Все ушло, чему дано – не быть.
Я листаю новые страницы –
те, что не успел досочинить.
Белый снег летит во все века.
Снеговик! Намнем ему бока!*

VI

Пуржило чуть. Труба пускала дым.
Топилась печь в избе. Сидели двое.
Один, конечно, был моим героем.
Кем был второй? Да бог с ним, со вторым.
Мы о моем герое говорим.

Что занесло его в тайгу и в снегопад,
где по проторенной лыжне гуляет вьюга?
Судьбе не рад (и сам себе не рад),
он попытать ее решил.
Случайным другом
ему охотник стал. В буфете на вокзале
они по сто перцовой заказали.

– Вы не охотник? –
Он пожал плечами.
– А не хотите испытать судьбу?
Напарник мой не вовремя отчалил.
– А что же делать?

– Да... топить избу. –
 Он засмеялся:
 – Ну, изгиб судьбы!
 Пойду, чтоб вам не выстудить избы!

VII

– Последняя выпивка в этом году...
 – Какую, старик, ты несешь ерунду!
 «Последняя выпивка» – это ль не бред?!
 – Не видел ее уже тысячу лет...
 Простились. Ушла она, снегом шурша...
 И рвется, и плачет душа.

Не месяц, не год, а столетья бегут.
 Я вмерз, я увяз в том декабрьском снегу.
 – Старик, ты в унынье приводишь меня.
 Плесни по одной. И подбрось-ка огня.
 – Морозом исколот, ветрами избит...
 Скорбит мое сердце. Скорбит.

Они замолчали, понурясь, вдвоем.
 Охотничий домик. Тайги окоем.
 – Гитары-то нет?
 – Ты меня не смеси.
 Откуда гитара в таежной глуши?
 – Я спел бы...
 – Так пой же! Давай, не тяни!
 – Спою. Только раньше плесни.

И он запел негромко а капелла.
 Топилась печка. В котелке кипело.

ПЕСНЯ

*Что-то ищет человек под фонарем,
 а фонарный свет расходится по кругу.
 Зажигалку потерял или подругу?
 Сам не знает. Сам никак не разберет.*

*Пальцы бледные встречаются с травой.
 Изумрудная трава блестит от света.
 «Где-то здесь она... а может, здесь вот где-то...» –
 и бормочет, и качает головой.*

*...Скоро осень. С веток свалится листва,
 пятна ржавые сырой асфальт пометят.
 Он искать не перестанет. Не заметит,
 что сгорела, стала жухлою трава.*

*И помочь ему... а чем же? Вот беда!
 Был бы пьяницей – я б спас его от жажды.
 Мы теряем что-то главное однажды
 и найти потом не можем. Никогда.*

– Какие ты странные песни поешь...
 – Кусает змея и щетинится еж.
 – О чем ты?
 – Да так. Наливай, не тяни.
 Бессонные ночи. Бессрочные дни.
 Другую не спеть ли? Я в форме сейчас.
 – Давай. Только чтоб не погасла свеча.
 – Ты не был в степи никогда? – Не попал.
 – А я у калмыков курганы копал.
 Я мог бы о том написать целый том.
 Но песня... она не о том.
 И он запел негромко а капелла.
 Тянулась ночь. А в котелке кипело.

ПЕСНЯ

*За горизонт уползает дорога.
 Степь, и ковыль, и тоска.
 В русском пейзаже, простом и убогом,
 трудно себя отыскать.*

*Трудно найти свое время и место.
 Ветер и серая пыль.
 Largo и largo. А хочется – presto.
 Степь, и тоска, и ковыль.*

*Сердце скулит, словно пес беспородный,
 стынет, как старый бобыль.
 Нет ни свечи, ни звезды путеводной.
 Степь, и тоска, и ковыль.*

*Пыль разнесет, ветер врежется в темя,
 щеки затеет лупить.
 Не отыскать нам ни место, ни время
 в этой бескрайней степи.*

*Что впереди? Мне дорога – невеста.
 Ветер скулит у виска.
 Largo и largo. А хочется – presto.
 Степь, и ковыль, и тоска.*

– Свеча не погасла. Могла б от тоски...
 Ты хочешь мне сердце порвать на куски?
 Откуда про степь? Ты – в тайге, как в плену.
 Не можешь другую – про жизнь, про весну? –
 Он молча курил. Слушал пламени гул.
 – Другую, прости, не могу.

VIII

РАЗГОВОР С ТЕНЬЮ

Он поздно встал. День перешел зенит.
 Ложились тени на пустые стены.
 Он загляделся на одну из них –
 и усмехнулся: «Чем не собеседник!»
 – Уж календарь пойдет на третий круг
 с тех пор, как волен я. Уйдя от мира,
 я до сих пор покоя не обрел.
 Что есть покой? Отсутствие надежд
 и невозможность поиска событий.
 А я остановиться не могу:
 и не ишу – так нахожу случайно.
 То в степь меня забросит, то в тайгу.
 То я один – то обретаю друга,
 которого и видеть не хочу –
 и не могу избавиться от дружбы.

Что ж – волен я?
 Осенние листья,
 себя воображая вольной стаей,
 по осени так к югу улетают:
 побуйствуют, попляшут на ветру –
 потом, смирясь, похолодеют кожей,
 покорно лягут под ноги прохожим.

То Бог, то чертик крутят колесо.
 То теплый дождь надует ветер с юга,
 то белый снег падет из черных туч.

...Я не могу забыть, как падал снег,
 как пел фонарь, отчаянно фальшивя,

и дым всходил от сигареты прочь.
 Сказал, простясь: «Храни тебя Господь!» –
 и верю: Он хранит ее.
 И боле
 нет ничего – ни торжества, ни боли.
 Ни радости, ни боли торжества.

На третий круг заходит календарь.
 Прозрачна осень. Лист покорен палый.
 Лежит – и ждет, когда его сметут.
 Грядет октябрь. Покатятся дожди,
 потом – снега... И годовые кольца
 умножатся еще одним кольцом.
 Накроет новый лист календаря
 и хруст ключа в замке, и сердца трепет.
 Не поколеблют равновесье мира
 мой волчий вой и твой тяжелый смех.
 Диван иль в крайнем случае квартира –
 масштабы катастрофы таковы.
 А то и облысевшей головы
 окружность – вот и все ее масштабы.

Он помолчал.
 Переместилась тень.
 Кончался день. В квартире потемнело.
 Он думал вслух, и мысль его была
 рассеянна.
 И он взглянул на тень –
 она дрожала, отдалясь от света.
 Он вздрогнул.
 – Тень? Иль призрак прежних дней? –
 Тень усмехнулась, подошла вплотную:
 – Ни то, ни то. Ты жизнь переменил.
 Жизнь – удалась.
 Но скука-то – откуда?

Он вышел в вечер.
 Стыли фонари.
 Стояла осень.
 Глухо билось сердце.

IX

Как все сложилось у нее? Я буду краток.
 Она грустила месяц или два.
 До слез, до боли, до сердечных схваток.
 Потом опомнилась: «Миг жизни сладок,
 но слишком короток. И дважды два –
 всегда четыре, уж таков порядок.
 И надо жить. Идея не нова».
 И стала жить.
 Она была швеей.
 Сперва обычной. Но ее покрои
 попали раз однажды на глаза
 одной жены вельможного туза.
 Жена была не просто так – жена.
 Она пришла. Они поговорили...
 Через полгода стало «Ателье
 шикарных мод и современных линий»
 ведущим брендом в регионе Е.
 А конкурентов скоро задавили.

Она вошла в высокие круги –
 ей эти сферы были недоступны, –
 и научилась пить «на ход ноги»,
 курить кальян. Но замыслов преступных
 не нажила. Душа осталась – той.
 Не то чтоб вся блистала чистотой,
 но – видит Бог! – хоть дамой света стала,
 не научилась лгать. Не перестала
 любить былое, главным дорожа.
 Она жила, призванию служа.

X

– Красавица, ну – что там говорить!
 И львица, и известная шалунья...
 И тайна есть! –
 так говорил один
 и улыбался, облако пуская.
 (Курил сигару? Нет! Держал в руках
 чудесный электронный испаритель.)
 – И я, старик, не скрою, – продолжал, –
 подъехать к ней готов на чем угодно –
 хоть «Мерса» взять, да хоть «Москвич», ей-богу! –
 он засмеялся, облако пустил.
 Тут светофор, сменивший гнев на милость,
 позеленел – и он сменил педаль,
 нажал на газ – и диалог прервался.

XI

На большом перегоне
 ровен поезда бег.
 А в плацкартном вагоне –
 ни к себе, ни к тебе.

Зябнут ноги в проходе.
 Свет полночный дрожит.
 Он не спит. Он выводит
 на стекле – миражи.

Мираж один. Ну, вот они вдвоем.
 С ней. С той. Изба. И леса окоем.
 Они вдвоем – и никого вокруг!..
 Он встрепенулся: «Ну, увлекся, друг...»

Замирает плацкартный,
 замедляется жизнь.

Он рисует, как карту,
 на стекле – миражи.

Мираж второй. Фонарь и белый снег.
 Вблизи – вокзал, и поезда побег.
 И сигареты тусклая звезда.
 «Я уезжаю. Собран чемодан...»

Он встряхнулся: «На кой же
 ты мусолишь года?
 Это было, но больше
 не бывать никогда.

Что ж поделать... Такая
 сочинилась судьба.
 Бьют колеса. Толкают
 от столба до столба.

XII

Я мог бы дальше вытянуть сюжет,
 и хеппи-энд придумать, и развязку...
 Нечасто жизнь напоминает сказку.
 Развязки нет. И хеппи-энда – нет.

Она ушла, укачивая боль,
 со щек стирая влажный след разлуки.
 Он укатил, чтоб властвовать собой,
 спасти себя от неслучайной скуки.

На шумном бале, посреди огней,
 где так ревет оркестр, что слов не слышно,
 он не был.
 И она к нему не вышла.
 Он не склонил колени перед ней.

Загадки нет. Судьба их развела.
Она, и правда, стала светской львицей.
А он в конце концов словил синицу –
жена, работа, прочие дела.

Но иногда, в тоске необычайной,
она – с вином, окурками соря,
ладонью гонит тень от фонаря.
«Жизнь удалась. Но скука – неслучайна».

И он порой, от седины белес,
сидит один, не зажигая света.
И все твердит услышанное где-то:
«Жизнь удалась...»
И не скрывает слез.

23.08.2019



Сергей Краснолуцкий приехал на КАТЭК из Воронежской области. К тому времени он был уже состоявшимся художником. Позже увлекся еще и археологией, палеонтологией, добился больших успехов, хотя сам к успеху никогда особо не стремился. Делал так, как определил талант, данный свыше. Так и живет. В моем (я пишу от лица составителя) архиве странным образом оказался текст, явно писанный для печати, но вряд ли где-то публиковавшийся. Текст написан от руки, но подписи автора нет. Только дата: 1988 год, и тогдашнее название города: Черненко. Стиль выдает автора: писал Андрей Антоненко. А вот заголовок, скорее всего, принадлежит нашему общему другу Сергею Гандкину, хотя его об этом уже, увы, не спросишь.

Текст стоит того, чтобы стать предисловием к последнему разделу книги, представляющему творчество Сергея Краснолуцкого.

Андрей Антоненко

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЖАЗ»

Где-то тасуют фразы: «сюрреализм», «прикладное искусство», «публицистика в скульптуре».

Откуда-то приезжают большие люди, вешают на память фантомы скептических улыбок в воздухе мастерской, позвякивают чайными ложечками два друга-поэта. Люди, слова... Слова, люди...

Где-то совсем рядом озеро Ашпыл, берег которого усыпан скелетами рыб. Если пройти по берегу, то можно услышать, как кошмарно похрустывает природа, выглядывая из-под башмака бессмысленным рыбьим черепом...

Блокадные очереди за хлебом...

Блокадные очереди за искусством...

Девочка, замерзшая на полпути к школе...

Девочка, умершая в прогнившей утробе нашего жуткого родильного дома...

Где-то совсем рядом чьей-то исполинской рукой, спущенной сверху на еле заметных тесемочках, распаханое поле, на котором растет загадочный суровый город.

И в этой какофонии жизни нужно услышать гармонию, найти тему. И ночью пиступить к материализации звука.

Так, шесть лет назад двадцатилетний Сергей Краснолуцкий начал свои печальные импровизации, свой экологический джаз. Теперь он переехал в Горячегорск, ближе к тайге. Теперь надолго уходит в тайгу, чтобы отчетливо слышать ее печальную тему. Он собирает лапки мертвых окольцованных птиц, коллекции насекомых, цветов, как архивариус, ревностно перебирает их, будто ждет, что скоро придут и спросят: «А что это такое? А для чего это было нужно?..»

Возможно, всего этого вы не увидите в его работах, не услышите рычание ГРЭС, очень похожей на огромного дракона, кусающего свой хвост, протянувшийся из самой высокой в мире трубы. Но не почувствовать, как тяжело природе в содружестве с человеком, и как человеку невыносимо тяжело в этом содружестве с природой, вы не сможете.

Сегодня, может быть, его по-настоящему первый концерт, концерт скульптора, играющего джазовые композиции на темы, созданные двумя великими противниками-композиторами: Тайгой и Городом – Моцартом и Сальери.

Дождливое лето.
Серпентинит. 1995 г.
9х37х9см



Вершина. Серпентинит,
известняк. 2001 г.



◀ Вечерний сон.
Серпентинит, известняк.
1994 г. 18х11х7см

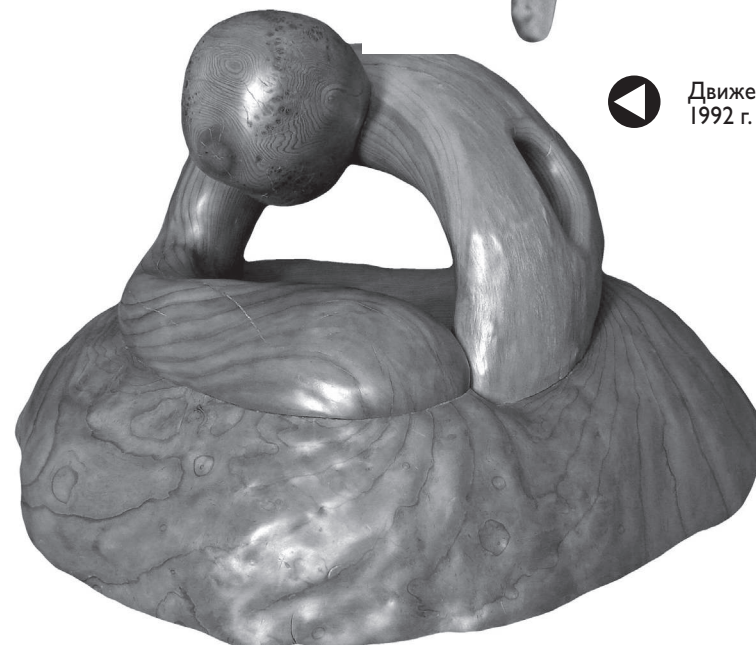
Гора. Серпентинит, доломит.
2000 г. 25х19х10см



Жёлудь. Пластлин. 1982 г.



◀ Движение. Лиственница.
1992 г. 40х65х58 см



Холодно, однако.
Бивень мамонта, кварц. 1994
г. 20х15х10 см



Муравейник.
Пластлин. 1982 г.



Лесник. Кварц, кедр,
1987 г. 57х16х14 см



Дорога. Серпентинит,
пегматит. 1998 г. 20х33х11 см

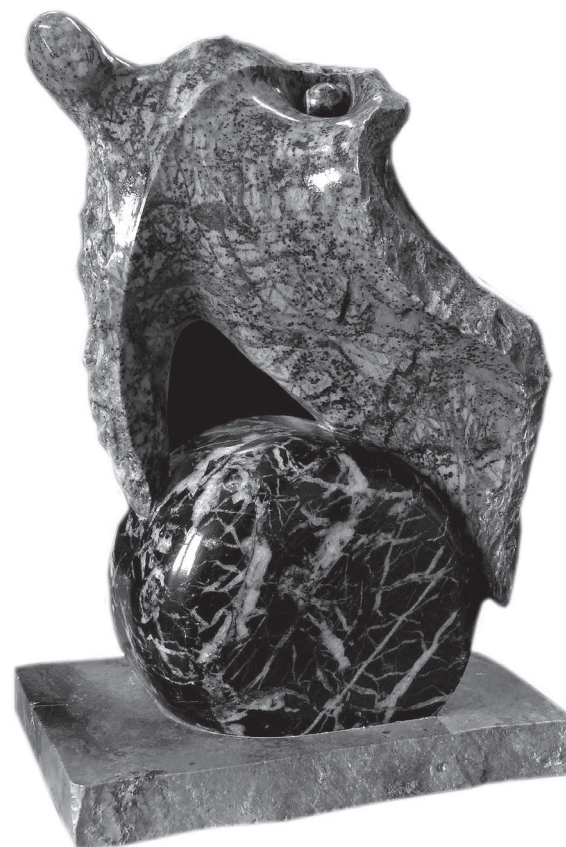


Последний снег. Серпентинит,
доломит. 2000 г. 16x17x9 см



Ожидание дождя.
Серпентинит. 2005 г.
18x22x17 см.

Память. Серпентинит,
известняк. 2003 г. 41x11x9 см



Овраг. Серпентинит,
известняк. 2000 г.



Портрет друга. Мрамор, гранит.
1996 г. 50x34x13 см



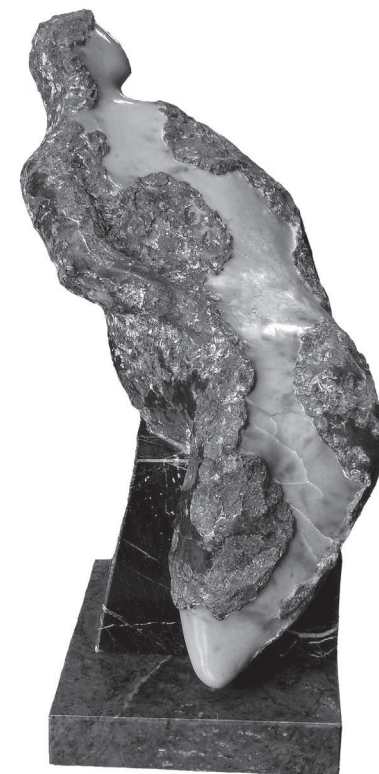
Утро. Серпентинит.
2001 г. 9x34x9 см



Речка. Серпентинит.
2014 г. 12x23x15 см



Портрет мужчины.
Мрамор. 1990 г. 54x27x20 см



Рождение. Лиственница, мрамор.
1985 г. 90x32x20 см

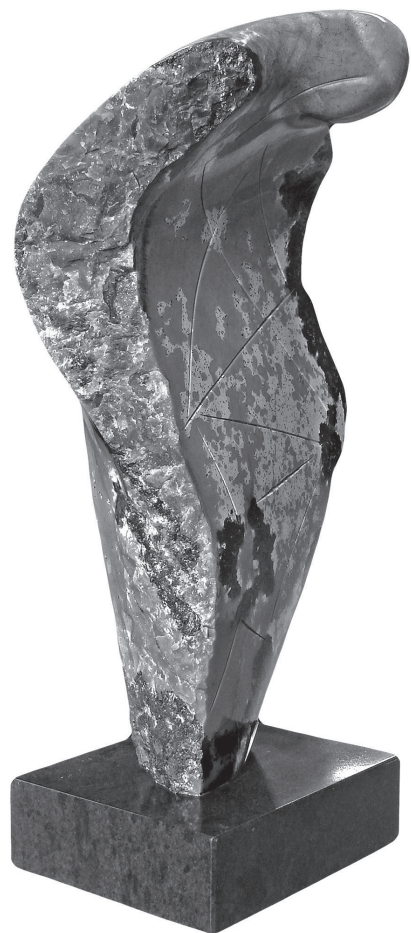


Размышления о храме.
Кедр. 1987 г. 37x26x16 см

Портрет девушки.
Мрамор. 1991 г.



Сельские жители.
Серпентинит.
2003 г. 19x25x8 см



Ночная прогулка.
Серпентинит.
2004 г. 20x33x8 см



Сомнения. Серпентинит,
доломит. 2001 г. 12x25x8 см



Семья. Серпентинит.
2011 г. 14x25x6 см

Скифский художник.
Серпентинит, известняк.
1997 г. 12x26x8 см.





◀ Танец огня. Серпентинит, известняк. 2007 г. 14x22x11 см



Эхо бубна. Серпентинит, известняк. 1996 г. 11x26x7 см ▶

Сказка. Кедр, берёза, 1985 г. ▶

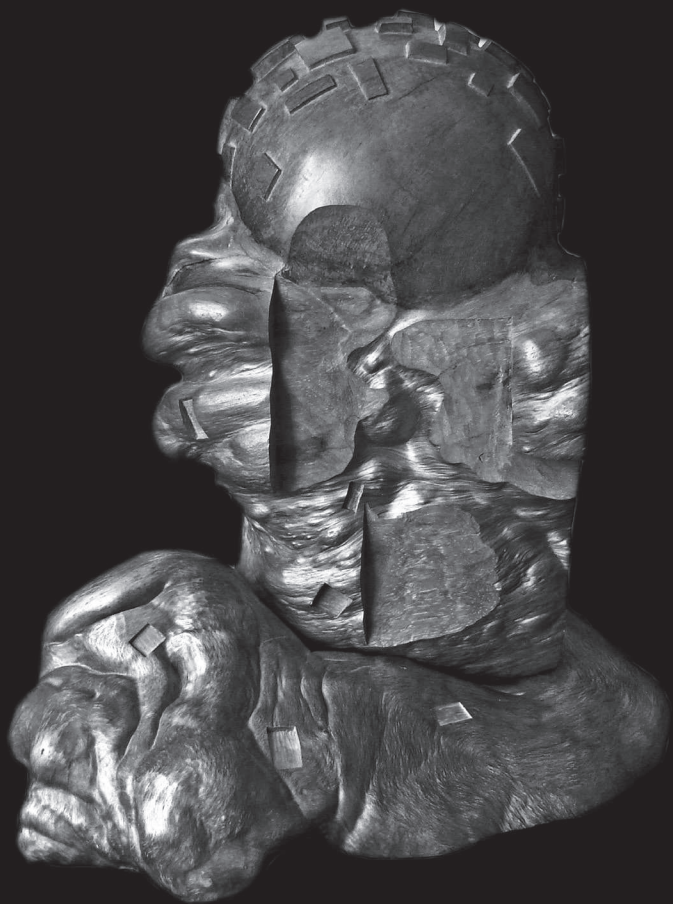


Автопортрет. 1977. Гипс тонированный

СОДЕРЖАНИЕ

**Не мыслившие зла.
Неполное собрание сочинений.**

Редактор-составитель Геннадий Васильев.
Дизайн, верстка Виктор Маслобоев.
Корректор Елена Уварова.



Настоящий сборник представляет творчество четырех литераторов и художника, которых в 80-е годы прошлого столетия свела вместе ударная стройка КАТЭК – Канско-Ачинский топливно-энергетический комплекс. Жили и познакомились в столице стройки – городе Шарыпово Красноярского края. Спустя десятилетия решили собраться вместе – не в городе, но хоть под одной обложкой.